

Валерий
Михайлов



ИВОЛГА, ЛЕСА ОТШЕЛЬНИЦА

Книга о Николае Заболоцком

Глава шестнадцатая

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

НА ОБЩИХ РАБОТАХ

Из Хабаровска на север до Комсомольской пересылки Заболоцкий ехал по железной дороге под местным названием ВОЛК (Волочаевка – Комсомольск). «Царство БАМа» вообще-то лежало по соседству – на востоке и на западе от пересыльного лагеря. Неизвестный природный мир открылся ему. Не сразу поэт познал его и почувствовал. Через пять лет, отбыв срок заключения и уже перебравшись на Алтай, он, по просьбе своего друга Николая Степанова, набросал ему в письме воспоминания о природе края – «Картины Дальнего Востока», а потом переписал этот текст жене (21 апреля 1944 года) со словами: «Мне хотелось бы, чтобы и ты их прочла...» Природа природой, но в коротком очерке воссоздан, так сказать, психологический портрет того дикого земного пространства, в котором ему пришлось жить и, более того, которое довелось поневоле *осваивать*.

«Это – особая страна, не похожая на наши места; мир, к которому надо привыкнуть. Прежде всего, это не равнина, не долина, – это необозримое море каменных холмов и гор-сопок, поросших тайгой. Природа ещё девственна здесь, и хлябь ещё не отделилась от суши вполне, как это бывает в местности, освоенной человеком. Во всей своей торжественной дикости и жестокости предстаёт здесь природа. Не будешь ты тут разгуливать по удобным дорогам, восторгаться красотой мощных дубов и живописным расположением роц и речек, – придётся тебе перескакивать с кочки на кочку, утопать в ржавой воде, страдать от комаров и мошек, которые тучами носятся в воздухе, представляя собой настоящее бедствие для человека и животных. Поднимаясь на сопку, напрасно будешь ты надеяться, что наконец-то твоя нога ступит на твёрдую сухую почву, – нет, и на сопке та же хлябь, те же кочки.

Продолжение. Начало в № 10–12, 2017 г.



И тайга – это вовсе не величественный лес огромных деревьев. Горько разочаруешься ты с первого взгляда, встретив здесь главным образом малорослые, довольно тонкие в обхвате хвойные породы, которые беспорядочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то поднимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут, конечно, и величественные красноватые лиственницы, и дубы, и бархат, но не они представляют общий фон, но именно эта неказистая, переплетённая глухая тайга – и страшная, и привлекательная в одно и то же время».

И жизнь его там была – *хлябь*: зыбкость, ненадёжность, испытание, бедствие...

27 февраля 1939 года Заболоцкий сообщил жене, что здоров и две недели назад отправил ей первое письмо с нового адреса: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна:

«Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но всё норму начал давать. Просил послать у тебя, если ты в силах, 50 р. и посылку – сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Ещё, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продаётся в виде таблеток (<...>). Также хорошо бы луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую. Я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в месяц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего ещё не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело моё будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление наркому.

Надейся и ты, родная. Как бы ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родного Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.

Любящий вас папа

Н. Заболоцкий.

Очки бы мне нужно от близорукости – 1,75 D.

Пошли, если можно заказать, в футляре».

Лишь увидевшись с мужем в 1944 году, Екатерина Васильевна узнала от него в подробностях об этих «общих работах». Всей правды в письме он говорить не хотел, чтобы не тревожить её, да и не мог: письма подавались в открытых конвертах и перед отправкой досматривались.

Много позже, в 1972-м, Гурген Георгиевич Татосов, солагерник Заболоцкого (они держались вместе до 1943 года, пока пути не разошлись) ответил на вопросы сына поэта, Никиты Николаевича, о жизни в лагере.

Поселили их в огромном длинном бараке: холодное, сырое помещение, нары в два этажа, с жердями вместо досок, тусклый свет керосиновых фонарей. «Уголовники и политические были вместе, и это порождало для нас адское состояние. Где-то в одном из углов насильно раздевали человека, так как без его ведома на его одежду шла азартная карточная игра. В другом углу лилась кровь в бессмысленной драке, очень часто возникающей по пустякам. Ругань – циничная, непристойная, кощунственная висела в воздухе. И было ещё много и много такого, чего не опишешь в небольшом письме и о чём лучше всего поведать словами.

Вот в такой обстановке жили мы недели три. Нас сортировали, проверяли и готовили к дальнейшему этапу. В один нехороший день у Николая Алексеевича украли все вещи. Он, огорчённый и растерянный, ходил по бараку и наивно спрашивал, кто взял его вещи. В ответ слышались едкие и злые слова, где-то отвечали, что

вещи взял Яшка, а когда Николай Алексеевич спрашивал, какой Яшка, слышалась гнусная, грязная похабная рифма. <...>

Я сказал Николаю Алексеевичу, что о вещах думать уже нечего – они давно вынесены из барака и проданы, что нам надо держаться друг друга, чтобы было меньше обид от нечисти, нас окружающей. Мы рядом поселились на жердях, и началась наша лагерная жизнь».

Оба попали в посёлок Старт – пригород Комсомольска, посреди глухой тайги Заболоцкому выдали что-то из лагерной одежды, иначе до весны он бы просто не продержался. И там жили в таком же бараке. С темна до темна – лесоповал, 12-часовой рабочий день. С Татосовым работали на пару, но навыка никакого. Приглядывались, как ловко орудуют топором и пилой заключённые финны, прирождённые лесорубы. Не дашь нормы – на обед лишь 300 граммов хлеба и черпак баланды. С такой едой на морозе долго не продержишься, несколько недель – и дистрофия. Тех же, кто задание выполнял, кормили значительно лучше. Как ни напрягались двое товарищей, а справиться с нормой не могли. Однажды случилось невероятное: заметив их старательность, охранник велел учётчику записать норму. Подкормились – прибавилось сил; постепенно и навык пришёл.

«Далеко не все стрелки по-человечески относились к заключённым, – читаем в книге сына поэта. – Чаще от них слышались грубые окрики, ругань, издевательства. Однажды, уже весной, Заболоцкого и Татосова без охраны послали копать ямы для столбов где-то за пределами зоны. Грунт был тяжёлый, весенняя вода быстро заполняла вырытую яму, и работать приходилось, стоя в холодной воде. Вдруг из соседнего лесочка вышел охранник с овчаркой. То ли работники сели передохнуть, то ли и причины никакой не было, но он дал соответствующую команду, указал на двух заключённых и спустил собаку с поводка. Николай Алексеевич, отшатнувшись от бросившейся на него овчарки, упал в яму с водой. Гурген Георгиевич ударил собаку бывшим в руках ломиком, и та с визгом покатила по земле. Подбежал охранник, на ходу щёлкнув затвором винтовки, и закричал на Татосова:

– Ты что сделал с собакой, гнида! – Не обошлось тут и без увесистой зуботычины.

Лет через десять один знакомый спросил Заболоцкого, тяжело ли ему было в заключении.

– Бывало трудно, – лаконично ответил Николай Алексеевич.

– Ну, как трудно? Расскажите.

– А как бывает трудно, когда работаешь до изнеможения, а стоит присесть на минуту, тут же на тебя спускают овчарку? – Заболоцкий нахмурился и перевёл разговор на другую тему».

Потом, после лесоповала, был каменный карьер. Однажды при подготовке к взрывам породы Заболоцкий чуть не сорвался со скал; в другой раз на ледяном морозе он упал в незамерзающую горную речку, а обсушиться у костра пришлось далеко не сразу, – и, как ни странно, даже не простудился...

С каменным карьером, несомненно, связаны строки из «Картин Дальнего Востока»:

«Но почва камениста. Я не знаю тех геологических бурь, которые сотворили здесь всю эту каменную кутерьму, но стоит только снять растительный слой, как лопата натывается на глину и камень. В карьере мы обнажаем и взламываем вековые пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнажённую и увидавшую солнечный свет.

Когда-нибудь, проезжая к берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона, путешественник будет изумлён величественным зрелищем, которое откро-

ется перед его глазами. С вершин сопок он увидит вздыбленное каменное море, как бы застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море, поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими – в период таяния снегов, и что ни поворот, то новые изменчивые картины в новом аспекте света и теней будут внезапно появляться перед его глазами. Но это будет потом. Сейчас здесь суровый, нелёгкий человеческий труд».

В 1947 году Заболоцкий написал стихотворение «Начало стройки» – оно появилось в печати лишь после его кончины, в 1972 году.

Перед лицом лесов и косоогоров,
Там, где повсюду камень и вода, –
Самой природы своевольный нор
Препятствует усилиям труда.
Но в день, когда построятся палатки
И, сгоряча наткнувшись на ружьё,
Косматый зверь несётся без оглядки
В дремучее убежище своё;
Когда в трущобах кедров вековые,
Под топором трещина наперебой,
Вдруг накренил свои седые выи, –
Я не владею в этот день собой!
В какое-то короткое мгновенье
Я наполняюсь тем избытком сил,
Той благодатной жаждою творенья,
Что поднимает мёртвых из могил.
Сквозь дикий мир нетронутой природы
Мне чудятся над толпами людей
Грядущих зданий мраморные своды
И колоннады новых площадей. <...>

Тяжкий пафос ээка звучит в этих и дальнейших строках, утверждающих смысл того, что когда-то было сделано в тайге, *на общих работах* своими руками, – и та упрямая воля мечты, что когда-то всё-таки, «управляя миром», восторжествует не подневольный, а «свободный, стройный, вдохновенный труд».

Быть может, перед целою вселенной
Когда-нибудь на этих площадях,
Изваяны из бронзы драгоценной,
Предстанем мы с кирками на плечах.
И будут наши маленькие внуки
Играть у ног строителей земли
И трогать эти бронзовые руки,
Которые всё знали, всё могли.

«Я – ЧЕРТЁЖНИК»

Ни к какой «троцкистско-правой» или «троцкистско-левой» организации в Ленинграде Николай Заболоцкий, разумеется, не принадлежал. Такие натуры, как он, не делятся на части и не дробятся, – Заболоцкий целиком принадлежал поэзии. Однако на Дальнем Востоке он всё же сделался *троцкистом* – в том смысле, что стал субъектом – точнее, жертвой – воплощения одной из главных идей Троцкого.

На IX съезде партии (1920 год) один из вождей большевиков Л. Д. Троцкий поставил задачу милитаризации трудовой силы: крестьянство – бесформенный, по его определению, обломок средневековья в современном обществе – надо было срочно преобразовать. Этим «бесформенным обломком» был не иначе как *народ*, потому что страна в подавляющем большинстве была крестьянской.

Троцкий говорил: «Поскольку мы перешли теперь к широкой мобилизации крестьянских масс во имя задач, требующих массового применения, постольку милитаризация крестьянства является безусловно необходимой. Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям... В военной области имеется аппарат, который пускается в ход для принуждения солдат к исполнению своих обязанностей. Рабочая масса должна быть перебрасываема, назначается, командуема точно так же, как и солдаты... Мобилизованный чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если не выполнит – он будет дезертиром, которого карают».

Задачами, требующими «массового применения», были тогда для большевиков задачи мировой революции. У народа, однако, не спросили, нужна ли ему эта мировая коммуна?..

Идею Троцкого *целиком и полностью* разделял другой большевистский вождь – Н. И. Бухарин: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Смысл этих и подобных высказываний был один – свободных тружеников надо превратить в рабов коммунизма.

Эти идеи начали осуществляться сразу же после революции, но их «звёздный час» пришёлся на годы насильственной коллективизации. (Троцкий к тому времени был уже «врагом» – однако дело его жило.) Миллионы опозоренных, ограбленных и выкинутых из домов крестьян были превращены в солдат труда, осваивающих природные богатства в самых диких и необжитых районах страны. Всё это делалось с помощью «аппарата» для принуждения, которым стали войска НКВД – народного комиссариата внутренних дел. К концу 1930-х годов «человеческого материала» *на стройках пятилетки* стало не хватать – этим во многом и объясняются массовые аресты 1937–1938 годов. Попросту нужна была дешёвая рабочая сила, а дешевле арестантской – не бывает. С людскими потерями не считались – по принципу: «бабы ещё нарожают». НКВД превратился в поставщика и распорядителя этой бесправной, «мобилизованной» – с помощью арестов – рабсилы.

Коротко говоря, сталинская политика осуществлялась троцкистскими методами, – и безвинно осуждённые люди попадали под этот государственный каток. Вот таким образом и поэт Заболоцкий, который смолodu сторонился политики, «причастился» *троцкизму*...

Его эшелон вроде бы направлялся из Свердловска на Колыму, но в конце концов прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Причина могла быть только одна – на Дальнем Востоке неожиданно потребовалось *рабсилы* больше, чем на Колыме. Так поэт и оказался в Востлаге – Восточном железнодорожном лагере. Его вместе с другими бросили на прокладку ветки Комсомольск – Усть-Ниман, которая являлась частью БАМа – Байкало-Амурской магистрали. По ходу возводилось множество других объектов: подъездные пути, посёлки, предприятия строительных материалов и так далее.

На Дальнем Востоке создавалась единая хозяйственная система добычи и переработки полезных ископаемых, и, безусловно, этой системе требовался огромный штат инженерно-технического персонала. Далеко не все кадры были в наличии. Заключённых частенько строили в ряд и выкликали, нет ли среди них того или иного специалиста.

Однажды запросили чертёжника – и Николай Заболоцкий вдруг выступил вперёд: «Я – чертёжник».

К тому времени он уже два месяца был – в голоде и холоде – на общих работах и, как ни напрягался, чувствовал: *доходит*. То есть ещё немного – и превратится в лагерного *доходягу*. А это конец, гибель... Не спасали ни зрелый мужской возраст – 36 лет, ни природная крепость, ни закалка на военных учениях.

Решение выйти из строя, рискнуть – пришло мгновенно: с детства он хорошо рисовал, в Уржумском реальном училище прошёл уроки черчения. Конечно, специальностью он не владел, но надеялся: обучусь.

«Проверить сразу его способности было невозможно, так как его руки были распухшими и израненными, – пишет в биографии отца Никита Заболоцкий. – Держать рейсфедер или циркуль он не мог. Пока руки отходили, Николай Алексеевич освоил специальность чертёжника. Помогли добрые люди. Работники проектного бюро понимали, что их новый товарищ не очень сведущ в чертёжном деле, но не выдавали его и всячески помогали овладеть новой профессией. В первые дни, когда руки ещё не слушались, а вши падали с одежды на кальку, его взяла под своё покровительство одна вольнонаёмная чертёжница, показавшая ему различные приёмы копировальной работы».

Биограф подметил, что в письме к жене от 14 апреля 1939 года отец написал одну фразу явно для лагерной цензуры: «Я тоже вспомнил здесь свою старую чертёжную работу, и через несколько дней дело пошло».

Это письмо заметно пространнее и бодрей, чем предыдущие:

«Бесконечно рад, что вы здоровы и живёте относительно сносно. Из контекста письма вижу, что средства твои, Катя, на исходе. Подумай о том, что можно продать. В первую очередь ликвидируй мою библиотеку и мои костюмы. Если будешь работать – хорошо, а эти деньги будешь добавлять к своей зарплате, чтобы дети были сыты. Милая моя, в первых письмах я просил денег и посылок. Напрасно я об этом писал тебе. Не могу я отрывать у детей последнее, тем более, что я сыт, не голодаю. Правда, небольшая посылка здесь далеко не лишнее дело, но деньги – их можно не посылать. Я работаю чертёжником, и мне положено вознаграждение 30 р. в месяц. Это вполне достаточная по нашему положению сумма – её хватит на сахар, на махорку. Питание получаю улучшенное, и теперь чувствую себя значительно лучше, чем в первые дни. Нет никаких оснований сильно беспокоиться обо мне, родная. Нужно думать о детях, о самой себе. Я знаю, какая ты у меня самозабвенная, – не поешь, не попьёшь вовремя, не поспишь. Родная, издалека прошу тебя – ради детей, ради меня не забывай о себе. Подумай, что будет с детьми, если ты не выдержишь. Заботься о себе, прошу тебя. Забота о себе – всё равно что забота о детях».

Вскоре он хорошо освоил копировальную работу и даже признавался жене, что любит это чертёжное дело и охотно занимается им.

Но однажды, как вспоминал Гурген Татосов, Заболоцкого снова перевели на общие работы. Начальницей колонны, которой подчинялось и проектное бюро, была тогда молодая и весьма вольного поведения женщина, бывшая воровка. Она славилась в лагере вызывающей красотой и умением изощёренно материться. Не боясь мужа, почти открыто выбирала себе любовников. И надо же ей было «по-

ложить глаз» на розовощёкого скромного зэка из недавних доходяг. Заболоцкому она была отвратительна, о чём он ей тут же и заявил. Месть начальницы была незамедлительной – в каменный карьер! Спасло вмешательство руководителя бюро, который настоял на возвращении чертёжника: заменить некем.

ПРИГВОЖДЁННЫЙ К МОЛЧАНИЮ

Кроме «Лесного озера» (1938), Заболоцкий написал в заключении ещё одно лирическое стихотворение – «Соловей» (1939). Потом – долгое молчание, продолжившееся до 1946 года. Восемь лет без стихов!.. Может быть, это была кара не меньшая, чем физические и моральные страдания, которые ему пришлось перенести во всё время своей неволи.

Сам он никогда не говорил про это молчание. Никому так и не признался, каково ему пришлось... Редко-редко в письмах вырывалось что-то, да и то лишь намёком. Что выскажешь в посланиях на волю, которые предварительно читает какой-то неведомый лагерный цензор? Даже конверты заключённым не велено было заклеивать, чтобы проверяльщик ненароком не перетрудился.

Грустный вздох – вот и всё, что, наверное, можно было себе позволить.

«Больше всего хотелось бы быть вместе с вами и снова заниматься литературой», – писал поэт жене, Екатерине Васильевне 14 сентября 1939 года.

«Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую себя, несмотря на утомление, на всю душевную усталость, на всю бесконечную тягость постоянного ожидания, – чувствую себя целостным человеком, который ещё мог бы жить и работать» (из письма от 3 августа 1940 года).

«Ничего не читаю и не пишу – совершенно нет времени» (30 марта 1939 года).

Времени и сил, действительно, хватало лишь на работу и на сон. Кроме того, писать стихи в лагере – запрещалось. Тут все на глазах у всех – если одни не *стукнут*, так другие найдут при обыске. Хранить написанное можно было только в памяти.

«Горько становится: не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос – неужели один я теряю от этого? Я чувствую, что я мог бы сделать ещё немало и мог бы писать лучше, чем раньше» (6 апреля 1941 года).

Это тяжкое признание, конечно, было направлено не одной жене и немногим его товарищам, что на воле добивались пересмотра его дела, – оно было адресовано и тем посторонним людям, кто досматривал письма и докладывал о них *куда следует*.

Что о последних – наивный укор!.. *Слона дробиною не прошибёшь* (тем более что само слово *слон* из басен Крылова уже перекочевало тогда в лагерную аббревиатуру, переводящуюся: Соловецкий лагерь особого назначения. СЛОН – лагерь... ВОЛК – железная дорога, по которой путешествуют в основном зэки... Не басни – явь...)

«Если бы я мог теперь писать – я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной, как огромная тема, и всё то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме» (19 апреля 1941 года).

Невысказанное уже переполняет его – а пересмотр дела всё затягивается...

Прошло ещё три года:

«Умудряюсь немного читать – случайные книжки. Я бесконечно далёк от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом далёкого светлого существования, о котором можно только вспоминать» (6 августа 1944 года).

Однако жажда творить, вопреки сказанному, в том же 1944 году прорвалась в письме к другу, Николаю Степанову, и обернулась очерком «Картины Дальнего Востока». Этот небольшой текст похож отчасти на стихотворение в прозе. У него есть не только первый – чисто природный – план, но и образный, метафорический, философский. И читать его нужно отнюдь не только как заметки натуралиста.

«Особая страна» (с этих слов начинается очерк) – конечно, и *подневольная страна*, где очутился поэт. Чего стоит описание лесных пожаров в тайге – разве же не виден в этой картине образ народного бедствия! (Это не значит, что он со знательностью нечто зашифровывал – могло получиться само собой: творческое воображение избирало те природные явления, в которых невольно выражалась история страны и судьба автора.)

«Приходилось мне бывать на тушении лесных пожаров. Тайга летом горит часто, и бороться с пожарами трудно. Ночью можно видеть, как огненные струи бегут по склонам сопок, как понемногу пламя овладевает вершиной и начинает гулять по ней, заливая небо багровым заревом, видимым за десятки километров. В тайге страшно. Пламя летит где-то вверх по листве. Ещё где-то далеко бушует пожар, но треск его всё ближе и ближе. Ещё не горит ничего вокруг, но вот вверх вспыхнула ветка, другая, – не заметишь, как и когда загорелась она, и вот уже понеслись во все стороны искры, и скоро целые охапки пламени вспыхивают над головой, и побежали по стволу огненные струи. Уже давно, гонимые жаром, улетели птицы; волки, зайцы и всё зверьё, позабыв о вражде, не чуя человека, ломятся прочь, не разбирая дороги. И вся эта первобытная хлябь полетела, начала карабкаться во все стороны, потревоженная близостью огня. Вся тварь на-секомая, которую и не видишь никогда, полубесформенная, многоногая, слепая, одурелая, – мечется в воздухе, лезет в нос, в глотку, ползёт по ногам – воистину – страшное зрелище».

Как это похоже на песню, что пели в народе с Гражданской войны, если не ранее:

Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!..

Или описание дальневосточной зимы:

«Зимние холода суровы – до 40 и 50 градусов, но температура эта переносится сравнительно легче, чем такая же в России. По ночам чёрное-чёрное небо, усеянное блистательным скопищем ярких звёзд, висит над белоснежным миром. Люты́й мороз. Над посёлком, где печи топятся круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверх складывается он пластом, подпирая чёрное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут у жилья в превеликом множестве.

Утром, когда в морозном тумане поднимается из-за горизонта смутно-багровое солнце, можно нередко видеть на небе примечательные огненные столбы, которые в силу каких-то атмосферных причин образуют вокруг солнца нечто вроде скрещённых прожекторных лучей. И ещё любопытно: вдруг вспыхивает яркая радуга и так висит над снегом, точно нарисованная, удивляя собой непривычных людей».

Дым, застилающий чёрное небо... эта полярная сова над бараками... видения зимней радуги...

Заболоцкий, в обэриутской молодости, весьма интересовался оккультизмом, в котором *сова* – не только символ мудрости, но и мрака и смерти. Она видит ночью и всё вокруг себя – как круглосуточные стрелки на сторожевых лагерных вышках.

Колоннады дымов можно расшифровать как дымы от лагерных подразделений-колонн; *скрещённые прожекторные лучи* (весьма необычное сочетание слов для описания рассвета) – очень похожи на ещё не выключенные прожектора, освещавшие ночью зону.

И, наконец, *радуга* – символ завета между Богом и землёй, людьми (Быт., 9, 13): книгу Бытия поэт знал с детства...

* * *

Очевидно одно – Заболоцкий не мог творить в лагере, и потому просто терпел муку молчания, дожидаясь – и добиваясь – свободы.

Но на пространстве ГУЛАГа, как впоследствии стало известно, находились поэты, которые порой сочиняли стихи даже в этих условиях.

Александр Александрович Солодовников... Десятью годами старше Заболоцкого; впервые попал в тюрьму ещё в 1920 году; в 1939-м снова арестован и осуждён на восемь лет. Его отвезли на колымские молибденовые рудники. Заболоцкого поначалу тоже распределяли на Колыму, – так что могли бы и встретиться.

В ЛАГЕРЕ

1938 год

Здесь страданье, и преступленья,
И насилье гноятся всечасно,
Здесь тайна грехопаденья
Для ума открывается ясно.
Здесь подвижник, вор и убийца
Вместе заперты палачами.
Здесь одно спасенье – молиться
И о детстве думать ночами.
1938–1956

Всё в точности, как было и в лагерях Дальнего Востока. Заболоцкий тоже вспоминал там своё детство, и тоже молился – но не Богу, а *на семью*: на жену и детей.

Солодовников был глубоко верующим человеком – потому и писал несколько другие – *религиозные* – стихи. Заболоцкому как поэту было даровано куда как больше, но и Солодовников замечательно хорош:

НОЧЬ ПОД ЗВЁЗДАМИ

Свершает ночь своё богослуженье,
Мерцаая, движется созвездий крестный ход.
По храму неба стройное движенье
Одной струёй торжественной течёт.

Едва свилась закатная завеса,
Пошли огни без меры и числа:
Крест Лебеда, светильник Геркулеса,
Тройной огонь созвездия Орла.

Прекрасной Веги нежная лампада,
Кассиопеи знак, а вслед за ней
Снопом свечей горящие Плеяды,
Пегас, и Андромеда, и Персей.

Кастор и Поллукс друг за другом близко
Идут вдвоём. Капеллы хор поёт,
И Орион – небес архиепископ –
Великолепный совершает ход.

Обходят все вокруг чаши драгоценной
Медведицы... Таинственно она
В глубинах неба, в алтаре вселенной
Века веков Творцом утверждена.

Но вот прошли небесные светила,
Исполнен чин, творимый бездны лет,
И вспыхнуло зари паникадило.
Хвала Тебе,

явившему
нам
свет!

1940

*Кольма. Зима.
Ночная смена*

Как отличен образ рассвета в этом стихотворении от того описания восхода, что набросано в «Картинах Дальнего Востока»!..

Но если сопоставить «Ночь под звёздами» Солодовникова со стихотворением Заболоцкого «Соловей» (1939), то сразу же видишь глубокое их сходство в восприятии мира:

Чем больше я гнал вас, коварные страсти,
Тем меньше я мог насмехаться над вами.
В твоей ли, пичужка ничтожная, власти
Безмолвствовать *в этом сияющем храме?*

Вот где Николай Заболоцкий сказал в первый и последний раз о кресте поэтического молчания, который он нёс в лагере:

А ты, соловей, *пригвождённый к искусству,*
В свою Клеопатру влюблённый Антоний,
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,
Ты сердце моё разрываешь на части?
Я болен тобою, а было бы проще
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,
Родители первых пустынных симфоний,
Твои восклицанья услышав в пещере,
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

Понятно, *Клеопатра* тут – Муза, а влюблённый в неё *Антоний* – Поэт.

Сама первооснова искусства – природа – мучительно взывает к подневольному, молчащему Поэту, случайно услышавшему в тайге на лесоповале невидимого вольного соловья...

Николай Алексеевич Заболоцкий вряд ли даже слышал про Солодовникова, хотя оба жили одно время в Москве: его старший брат по несчастью при жизни никогда не печатался (а умер он в 1974 году).

СТО ПИСЕМ

Поначалу у очерка о природе Дальнего Востока названия не было: Заболоцкий представил его в виде обыкновенного письма и даже прибавил в конце – конечно, для лагерного соглядатая посланий на волю – несколько слов: письмо-де – беспорядочный набросок, да и обо всём нет времени писать.

Не имея разрешения в стихах, душа его искала выхода в письмах. На протяжении всей разлуки с женой он писал к ней постоянно – два раза в месяц: чаще не позволялось. Кажется, не пропустил ни одного из этих, назовём так, эпистолярных свиданий. И от Екатерины Васильевны всё время получал письма и телеграммы. Как трудно ей ни приходилось одной с двумя малолетними детьми, порой без постоянной службы, она регулярно посылала мужу посылки с продуктами, кое-какой одеждой, – всё это помогло Николаю Алексеевичу в лагере, особенно с началом войны, когда питание заключённых резко ухудшилось.

Но вернёмся к письмам.

В 1956 году Заболоцкий пересмотрел папку со своими посланиями к семье из мест заключения. Он отобрал ровно сто писем 1938–1944 годов, так и озаглавив эту папку из архива.

Филолог И. Е. Лоцилов, подготовивший письма к печати (они впервые полностью вышли во Владивостоке, в альманахе «Рубеж» в 2012 году), пишет в комментарии: «Материалы носят следы систематизации, тщательно пронумерованы красным карандашом. Публикация является реконструкцией нереализованного при жизни автора замысла художественно-документального произведения; отбор и нумерация (порядок следования) писем принадлежат самому Заболоцкому».

Остаётся сожалеть, что этот замысел не был осуществлён, хотя и в таком виде мы находим немало подробностей лагерной судьбы Заболоцкого.

Письма, даже подцензурные или даже те, что написаны на скорую руку, в короткие мгновения досуга, тем и хороши, что без обиняков выражают чувства. Что же характерно для писем Заболоцкого?

Самые простые сердечные слова.

Самая искренняя любовь к жене и детям; всепоглощающая забота о семье и её устройстве; постоянные думы и сны о родных.

Самые непрехотливые просьбы о том, что ему нужно в лагере. И те с оговорками: если возможно, если не скажется на достатке семьи, живущей без отца.

Никаких жалоб на собственные зоклключения и лагерный быт.

Неустанные пожелания жене: быть стойкой, благоразумной, бодрой, не терять веры в будущее, надеяться на скорую встречу.

Конечно, с годами тон писем немного меняется – становится грустней, но видно: Заболоцкий остаётся твёрд, не падает духом и не устаёт бороться за справедливое решение своей участи.

Приведём некоторые выдержки из его писем – они говорят сами за себя...

1939 ГОД

♦ «Каждый день думаю о вас; и встаю и ложусь спать с мыслями о вас, мои дорогие. Ваши образы стали моей мечтой, и я храню их глубоко в душе, как самое святое в моей жизни» (4 мая).

♦ Жена, по его просьбе, прислали ему фотографии...

«Не мог удержаться от слёз, увидев лица моих детей. Никитушка такой милый, и личико такое осмысленное. Наташенькино личико для меня совсем новое. В нём есть и твои, и мои черты. Теперь я каждый день заочно вижу с моими родными далёкими детьми, и только тебя, моя родная жена, нет у меня. <...> Пошли свою фотографию, но только мне лучше посылать фотографии совсем маленького формата. <...>

На днях подаю жалобу на имя Верховного Прокурора СССР. На прежние жалобы ответа ещё пока не пришло» (30 мая).

♦ «Ты пишешь, что не продала классиков из моей библиотеки, – продай прежде всего 10 томов в картонных крышках библиотеки Брокгауза и Эфрона – Шекспира, Шиллера, Мольера, Байрона. Эта библиотека стоила мне 1700 р. Вероятно, она и сейчас стоит не дешевле <...>. Вообще, хотелось бы, чтобы из моей библиотеки сохранились бы лишь немногие книги: Пушкина однотомник, Тютчева томик, Баратынского два тома, Гоголь, Сковорода, Лермонтов, Достоевский, книги, относящиеся к “Слову о Полку Игореве” <...>. Остальные книги продавай, когда придётся туго. Так же можешь поступить и с моими костюмами, не в них счастье. Были бы сыты, обуты и одеты детишки» (14 июня).

♦ «Поправилась ли моя доченька, напиши скорее, Катя. На карточке она выглядит настоящей красавицей, и я не налюбуюсь на неё. Подрос Никитка. А ты, моя родная, похудела, конечно, и много затаённого горя в твоих глазах. Как бы я хотел быть около тебя, помочь тебе, утешить тебя. Вспоминаю я, как раньше болели дети, как мы вместе ухаживали за ними. Теперь всё легло на твои плечи. Держись, не унывай, жёнка. Нужно ждать, надеяться, хлопотать. <...>

Моя душа вместе с вами, и только для вас я и храню мою жизнь» (14 июля).

♦ «Милая Катя, я чувствую, что у тебя с деньгами плохо. Не посылай больше посылок. Если очень туго будет, тогда попрошу сам. <...>

Как мои детки живут и помнят ли папу?

Уже стали такими печальными мои воспоминания о них, точно я на другом свете живу.

Но будем надеяться, что дело пересмотрят.

Хотелось бы передать в письме всю печаль и сознание своей беспомощности – при воспоминании о воле, – всю мою нежную любовь к вам – единственным, что меня ещё привлекает к жизни. Но словами не перескажешь всего, и, вероятно, лишь в воображении своём, милая Катя, ты это представляешь себе» (15 декабря).

1940 ГОД

◆ Ещё одно письмо сыну...

«Мой милый мальчик!

Поздравляю тебя с днём твоего рождения, крепко целую и обнимаю тебя. Будь здоров, мой родной, расти большой и умный, помогай, чем можешь, мамочке, береги Наташеньку. Папа всё время помнит о тебе и очень по тебе соскучился.

Теперь, мой милый, ты уж совсем большой мальчик: тебе 8 лет. Недавно я получил твоё письмо, ты уже начинаешь хорошо писать. <...>

Я, мой милый, живу далеко-далеко от тебя. Здесь на севере ещё совсем недавно был один сплошной лес-тайга, да стояли невысокие горы-сопки. Людей почти совсем не было. Одни дикие звери бродили кругом. Теперь в этот дикий и безлюдный край пришли люди <...>.

Летом здесь очень интересно. На горах-сопках растут большие яркие цветы, вроде пионов. Они совсем дикие. В воздухе летают жуки и мухи, каких у нас в Ленинграде нет. Очень много жуков-усачей с длинными-длинными усами. Сам жук ростом сантиметра 4, а усы сантиметров 12. У этого жука такая сила, что когда он вцепится лапами в кепку, а его самого поднимают за спинку, то он тащит кепку вместе с собой.

Осенью мы поймали бурундука – вроде маленькой белочки, и посадили его в клетку. Он несколько месяцев жил с нами и совсем было привык к нам. Недавно он сбежал. Это очень милый, приятный зверушка.

«Рисунок, изображающий бурундука»

Он рыжевато-серый с полосками. Особенно приятен он, когда сидит на задних лапках, а передними достаёт из коробки горох и отправляет в рот.

Здесь много дятлов. Недавно один дятел прожил у нас в клетке несколько дней. Питаются дятлы гусеницами, которых достают из деревьев. У дятла очень крепкий клюв, он стучит им и легко разрушает древесину. В течение дня наш дятел перебил клювом толстую палку. Дятла мы выпустили.

Ловили мы и синицы, это – весёлые, приятные птицы, но, к сожалению, в бараке они жить не могут – для них здесь жарко и душно» (10 января).

И бурундук, и дятел, и синицы быстро оказались на воле – а люди так и остались в лагерном бараке...

◆ «Каждый день засыпаю и просыпаюсь утром – с мыслью о вас. <...> иной раз, когда особенно ярко представишь себе ваше безвыходное положение и горе – тогда невольно мучительно становится на душе» (30 января).

◆ «Помнишь, Катя, – в тюрьме на свидании ты спрашивала – брать с собой детей в Уржум или оставить. Я посоветовал тебе брать с собой. <...> Мне всегда казалось, что хотя в трудные минуты жизни дети, с одной стороны, и отягощают нас, но с другой – они укрепляют нашу волю и любовь, и заботы о них отвлекают нас от собственного горя» (29 февраля).

◆ «Я никогда не думал раньше, что так можно любить детей».

«Вчера я был очень удивлён. Как всегда, склонившись над столом, я работал. В другом конце барака говорило радио. Транслировалась Москва. Вдруг слышу – артист читает что-то знакомое. Со второй строчки узнаю – мой перевод Руставели! Битву Автандила с пиратами. Актёр читал неважно – но всё сердце моё затрепетало от этих полузабытых, но близких строк, и голос московского чтеца прозвучал, как голос с того света» (13 марта).

♦ «Заключённые поют в своей песне “Не для меня придёт весна...” А я всё жду и надеюсь, что и для меня придёт весна...» (15 апреля)

♦ «Почти каждую ночь вижу во сне детей; тогда, пользуясь этим минутным счастьем, стараюсь глубоко-глубоко заглянуть в Никитушкины глаза, чтобы почувствовать его маленькую, родную душу, и всё прошу его: “Смотри ещё, смотри на папу, сынок”. У него такие мягкие, чистые волосики, по-детски душистые, пахнут птичками (так написано где-то). Во сне вижу себя свободным, и это даёт счастье. Счастье во сне» (30 апреля).

♦ «Спасибо тебе за то, что ты сохранила и сберегла детей. <...> Чего не вытерпишь ради детей. Порой жизнь кажется такой нестерпимой, но как только вспомнишь детей, – чувствуешь – надо жить, надо добиваться правды; веришь – что минуют беды, и жизнь снова вступит в своё нормальное течение».

«Недавно удалось прочитать “Войну и мир” Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут, и мне так было жаль, что не было тебя вместе со мной, чтобы поделиться впечатлениями. Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!» (25 июня)

♦ Заболоцкий очень хорошо понимал, что такое клеймо заключённого и как не просто будет жить с таким клеймом, и потому продуманно и настойчиво пытался восстановить справедливость...

«Но как ни долго тянется дело, всё же надо иметь в виду, что только одна полная реабилитация моя может вернуть нам старую жизнь. Если я останусь нереабилитированным, если буду продолжать жить с этим незаслуженным клеймом – наша жизнь прежней не станет никогда; и всё в ней будет условно. Этого забывать нельзя, и потому нельзя прекращать своих усилий добиться справедливости. Пусть это будет не сейчас, пусть это будет позже – но добиваться нужно».

«Через четыре дня – половина моего срока. Будет ли вторая половина легче первой? Один заключённый-крестьянин говорил: “Когда идёшь домой с тяжёлой ношей, то до полдороги ещё ничего, – а там, чем ближе к дому, – всё тяжелее и тяжелее”. А там, если и вернусь, – то где позволят жить, где и как работать и прочее. Но загадывать ещё рано. Времени впереди ещё достаточно» (15 сентября).

♦ «Ввиду того, что абсолютно всё время занято, – некогда скучать и тосковать. Кончишь работу, засыпаешь, как убитый, и если просыпаешься, то только от холода. Так идут день за днём – одинаковые, без переживаний, без мысли. Очень рад, что стал теперь заниматься техникой, чем заполняю пустоту в голове, с которой никогда жить ещё не приходилось».

Что мне нужно? Штаны. Какие-нибудь старые, что ли, только чтобы были прочные и потеплее. Вид их безразличен, и кто носил раньше – тоже. Если подвернётся случай – вышли, пожалуйста. А то эти синие уже носятся, не снимая, 2 года, и уже разваливаются, не говоря уже о том, что вид имеют самый фантастический. И если будешь их высылать, пожалуйста, не забудь махорки или табаку, хотя самого дешёвого, но побольше. Пропадаю без табаку, и достать негде. Впрочем, и штаны, и табак не важны, ибо можно обойтись и без них» (28 сентября).

♦ По получении фотографий из дома...

«Из карточек особенно приятны те, что с дедом. Там и ты хорошо вышла, и ребятки выглядят довольно живо. Натальюшка, должно быть, очень забавная и милая девочка, и мне очень горько, что детство её отнято у меня. <...>

Ты просишь сообщить – как выгляжу я. Каким я был в тюрьме – ты помнишь – без особых перемен. В январе-феврале-марте того же года я был совсем не похож на себя; сейчас же снова вернулся в норму. <...> Правда, говорят, у меня уже пробиваются кое-где седые волосы, что неудивительно, и спереди и на макушке причёска стала редеть. Но признаки этого были и на воле.

Конечно, мой внешний вид сильно отличается от прежнего по платью и по положению, которое я занимаю. Но я стараюсь быть аккуратным. Рваной одежды у меня нет, всё подшито; нет ни одной оторванной пуговицы. Правда, ленюсь штопать носки, но их у меня много, и я ношу аккуратно. Всё делаю себе сам. Из посылочного ящика (который был новенький и аккуратный) я сделал себе чемоданчик – немного похожий на настоящие фанерные – с крышкой и ручкой» (20 октября).

♦ В конце октября 1940 года проектно-сметный отдел, где работал чертёжником Заболоцкий, перебросили из посёлка Старт в Комсомольск. Он сообщил жене свой новый почтовый адрес: 99 колонна, Штабная колонна. В управлении, куда влился их отдел, было много вольнонаёмных. Начальник управления считал себя человеком просвещённым, поскольку интересовался искусством, и он был осведомлён о том, что у него работает поэт Заболоцкий. Этот начальник, по рассказам, как-то услышал от одного заключённого почтительные слова: «Все остальные просто палачи, вы же – культурный палач», которые, по-видимому, воспринял как робкую лесть: быть *палачом врагов народа* отнюдь не считалось зазорным. Вокруг города было множество эзков, живущих в страшных условиях и гибнущих от недоедания, болезней и рабского труда, – но это, по рассуждению лагерного начальства, были *необходимые жертвы*. Никита Заболоцкий предполагает, что именно тогда и произошёл случай, болезненно поразивший его отца. При обходе строя заключённых один высокий начальник вдруг спросил о поэте, не пишет ли он стихов? Рапортующий доложил: заключённый Заболоцкий работает исправно, замечаний в быту не имеет и стихов, как говорит, никогда писать не будет. На что начальник заметил: «Ну, то-то». Пожалуй, «культурный палач» мог быть вполне доволен: лагерь-то – *исправительно-трудовой*...

Работали в Комсомольске, а барак, где спали, был за городом. Заболоцкий писал жене о новом месте:

«Ходить приходится в день в общей сложности километров по 12 – до места работы и обратно. Это отчасти и хорошо, т. к. это время проводим на свежем воздухе и в движении, что представляет хороший контраст моей неподвижной работе. Плохая сторона хождений – время отдыха сокращается вдвое, и в результате значительно больше устаёшь. Зато работаю теперь в настоящем большом каменном здании. Я так отвык за эти годы от настоящих домов, что вначале даже странно было видеть себя в обстановке городского дома» (11 ноября).

В том письме Заболоцкий сообщил жене, что ему случайно попала в руки книга Руставели в его переложении для юношества. Но на заглавном листе было только – «Перевод с грузинского. И всё». Своего имени он не увидел – вычеркнули. «<...> утешительно было узнать, что работа даром не пропала и не опорочена по существу».

И ещё: в одном из редко встречающихся тут литературных журналов он с грустью прочёл «Санины стихи» – стихотворение Александра Гитовича, посвящённое ему самому, томящемуся в неволе:

Давным-давно, не знаю почему,
Я потерял товарища. И эти
Мгновенья камнем канули во тьму:
Я многое с тех пор забыл на свете,

Я только помню, что не пил вино,
 Не думал о судьбе, о смертном ложе,
 И было это всё давным-давно:
 На целый год я был тогда моложе.
 1939

Жена А. Гитовича, Сильва Соломоновна, в своих воспоминаниях называет этот случай чудом. Как попал именно этот номер «Литературного современника» из Ленинграда в Комсомольск-на-Амуре да ещё и в руки «з/к Заболоцкого»? «...» конечно, никакого посвящения не стояло. «...» Он читает печальное Санино стихотворение «...» и сразу понимает всё. Обострённая интуиция не вызывает у него ни малейшего сомнения, кому адресованы эти строки, и грустно отзывается в сердце эта далёкая весточка друга. «...» много лет спустя, сидя на краешке ванны у себя на Беговой, куда они вдвоём ходили курить, он рассказывал Сане, сколько надежды, силы и бодрости вселил в него тогда сдвоенный номер «Литературного современника» за 1940 год».

♦ Снова строки из писем к жене...

«Может быть, мы и будем вместе, и отдохнём, и детей вырастим, – но душа моя так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков. Неужели во всём этом есть какой-то смысл, который нам непонятен?»

Непонятный смысл...

Что сказал бы Заболоцкий, если бы когда-нибудь вдруг прочитал стихи Солодовникова из цикла «Тюрьма»?..

4

Лён, голубой цветочек,
 Сколько муки тебе суждено.
 Мнут тебя, трепят и мочат,
 Из травинки творя полотно.

Всё в тебе обрекли умиранью,
 Только часть уцелеть должна,
 Чтобы стать драгоценной тканью,
 Что бела, и тонка, и прочна.

Трепи, трепи меня, Боже!
 Разминай, как зелёный лён.
 Чтобы стал я судьбой своей тоже
 В полотно из травы превращён.
 1938–1956

6. НАПАСТИ 1938 ГОДА

Разбитая жизнь и погибшая доля –
 Не есть ли святая беда?
 Ведь так скорлупа погибает всегда,
 Как только птенец появился на волю
 И выглянул выше гнезда.

Ведь по судьбе – всё это было очень близко ему...

1941 ГОД

◆ «Моя милая Катя!

Вот и 41-й год. До трёх лет остаётся немного больше двух месяцев.

31-го пришёл с работы, пью свою кружку чаю – слышу: по радио из Москвы поздравляют с Новым годом. Слышатся тосты и звон новогодних бокалов. Моя кружка с кипятком мало напоминала бокал, барак же совсем не походил на праздничную залу. Вдруг приносят бандероль. Открываю: два томика Пушкина. Повяло таким теплом дружбы и участия. Спасибо. Так с Пушкиным я и встретил мой Новый год, мысленно поздравляя всех вас, мои дорогие, и всех друзей и знакомых. <...>

Теперь иногда я читаю Пушкина. И по временам он представляется гениальным молодым человеком. Молодым – потому что по годам я представляю себе себя самого значительно более старым, чем Пушкин» (4 января).

◆ «Спасибо за милое письмо и книги. Книжечка Баратынского доставляет мне много радости. Перед сном и в перерывы я успеваю прочесть несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. Мировоззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его темы и то, что он поэт думающий, мыслящий, – приближает его ко мне, и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, чего так недоставало Пушкину и что с такой чудесной силой проявилось в Гёте. Но Баратынский нравится мне не только как мыслящий человек, но и как поэт; в стихах его позднего периода (которые написаны им примерно в моём возрасте и старше) у него много поэтической смелости, не в пример молодым его стихам, французистым по манере, – в духе того времени» (6 апреля).

Пять книг русских классиков подобрали Заболоцкому в Ленинграде Николай Леонидович Степанов и Ирина Николаевна Томашевская. Однако во время «шмона» в бараке четыре книги охранники отобрали: исправляли заключённых исключительно с помощью советской литературы. Томик Боратынского (так правильно; в своих письмах поэт пишет его фамилию – Баратынский) Заболоцкому, однако, удалось отстоять: он догадался обратить взор охранника на название издательства – «Советский писатель», и тот благожелательно кивнул: наш автор!..

◆ «Не мне одному тяжело в заключении, но мне тяжелее, чем многим другим, потому, что природа одарила меня умом и талантом» (19 апреля).

◆ «Часто вспоминаю я Никиткино детство – как он на Сиверской впервые встал на ножки, как лазил под стол за мячом и, разогнувшись там, – ушибся, что послужило ему уроком, как играли в прятки, как он наблюдал за моим бритъём, а я строил ему невероятные рожи, что доставляло ему столько удовольствия; как дочку укачивал; как она тихонько сказала “папа” – тогда – прощаясь со мной. Или это только почудилось мне? Пиши, Катя, о ребятах. Судьба оторвала меня от дочки; детство её проходит без меня» (8 мая).

◆ Екатерина Васильевна сообщила мужу, что по его доверенностям получила деньги за переиздания его переводных книг, – в то время она жила с детьми уже в Ленинграде...

«Ты не можешь представить себе, сколько радости доставили мне твои письма <...>. Теперь, когда я знаю, что ты получила эти деньги, а также получишь в Детгиздата 5 т. «тысяч», мне стало куда спокойнее за вас, мои родные. Я благодарю судьбу за то, что старые мои работы ещё полезны для вас. Не каждому выпадает такое счастье,

и я особенно ценю и дорожу им – милая, любящая, терпеливая, благоразумная, и наши милые дети, которые дороже всего для нас с тобой, – а через вас и я счастлив. Волей и весной повеяло от твоих писем – и я опять полон надежды на будущее».

«(...) если же найдутся какие-нибудь портативные издания Тютчева – то я очень хотел бы его получить, причём меня интересуют исключительно философские и лирические его стихи – все же остальные не нужно» (30 мая).

♦ «Мои дорогие детки, Никитушка и Наташенька!

Ваши карточки в письме и конфетки в посылке я получил. Карточки очень даже неплохие, и я каждый день их рассматриваю. Конфетки – прекрасные. Как только я съедаю конфетку, я говорю: – Вот я поцеловал маленький Наташенькин пальчик. Съедаю другую и говорю: – Вот я поцеловал Никиткино ухо. А как только посмотрю на карточку и увижу – какой большой вырос Никита, я думаю: наверное, ухо у него теперь с целую тарелку – что же я его целую, это уж даже неприлично (...).

Никиту Николаевича поздравляю с переходом во 2-й класс и с отличными отметками. (...). (30 мая)

ДОБИВАЯСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ...

Это произошло ещё на лесоповале, в самом начале его лагерной жизни...

Как-то Заболоцкий спросил у соседа по бараку бумаги на самокрутку. Тот оторвал клочок газеты, в которую была завёрнута только что полученная из дома посылка. И тут перед поэтом, расправляющим газетку, мелькнуло знакомое имя. На обрывке он прочёл указ о награждении писателей: Николай Тихонов получил орден Ленина. А он-то думал, что его товарищ тоже загремел в лагерь, – ведь следствие копало под главу ленинградских писателей... Раз Тихонов на свободе, более того – в почёте, значит, никакой контрреволюционной организации и не было. Тогда в чём же виновен он, Заболоцкий?..

Вскоре поэт стал писать по инстанциям письма протеста. Обратился к наркому внутренних дел, в Президиум Верховного Совета. Ответов не получил.

На воле ему давно пытались помочь друзья и товарищи. Его учитель по институту Василий Алексеевич Десницкий написал прошение к Сталину, – причём обращался к вождю по старой подпольной привычке – как «Лопата» к «Кобе». Михаил Михайлович Зоценко дважды сообщал жене поэта, Екатерине Васильевне, о том, что товарищи отнюдь не позабыли про Николая Алексеевича и обещают помочь, а сам он уже обратился в Москву с просьбой пересмотреть дело и облегчить участь поэта.

Время вроде бы благоприятствовало переменам: разгул ежовщины ненадолго сменился показным «либерализмом» нового наркома, – им стал Лаврентий Берия. Он *убрал* самых кровавых палачей; кое-какие дела «политических» были пересмотрены, и кто-то даже вышел на свободу. Берия действовал согласно сталинской репрессивной тактике, опробованной ещё в коллективизацию: «успехи» – «головокружение от успехов» – «новые успехи», – но, как говорится, *хрен редьки не слаще*. Заключённый поэт, конечно, понимал: политика переменчива, действовать надо как можно быстрее.

«23 июля 1939 года Заболоцкий написал большое заявление на имя Верховного прокурора СССР и, минуя обычную процедуру направления жалоб, переслал его жене, – пишет Никита Заболоцкий. – Екатерина Васильевна получила заявление в Уржуме и поняла, что ей нужно сделать всё возможное, чтобы этот документ до-

шёл до прокурора СССР. Она воспользовалась изменившейся ситуацией, послала телеграмму на имя Берия и получила разрешение временно приехать из ссылки в Ленинград для лечения детей. Из Ленинграда она вместе с Н. Л. Степановым отправилась в Москву, чтобы организовать авторитетную поддержку заявлению. В незавершённых своих воспоминаниях Степанов написал: “Приехали к В. Б. Шкловскому. Он жил тогда ещё на Лаврушинском. Шкловский сказал, что надо ехать к Фадееву в Переделкино. Поехали втроём. В то время дача Фадеева ещё не была обнесена высоким забором, который построили вскоре после войны, и всякий мог легко пройти к нему. Фадеев принял нас дружелюбно и просто. Выслушал, обещал узнать, ознакомиться с делом. В те годы это было на удивление хорошо – ведь обычно каждый, как мог, отпихивался, отстранялся от таких дел...”».

Глава Союза советских писателей самолично передал заявление Заболоцкого Верховному прокурору страны М. И. Панкратьеву.

Только из этого заявления товарищи Заболоцкого и узнали, в чём обвинялся поэт. В прокуратуру пошли письма известных писателей о том, что следствие неверно истолковало суть произведений Заболоцкого: никакой контрреволюционности там нет. Положительные отзывы о его творчестве дали А. Гитович, М. Зощенко, В. Каверин, Н. Тихонов, Н. Степанов, П. Антокольский, К. Чуковский. Дело принялись разбирать в Ленинградской областной прокуратуре...

Тем временем Николай Заболоцкий отправил заявление в правление Союза советских писателей о том, что никакой подрывной деятельностью никогда не занимался – а критики огульно объявили его литературные произведения «троцкистскими». Да, в грехах формализма он повинен, но ответил за них, добровольно покаявшись во время дискуссии о формализме в искусстве.

«Моё положение таково, – писал он 18 августа 1939 года. – В заключении я нахожусь около 1 ½ лет, постепенно теряя не только свои литературные способности, но и вообще качества культурного человека. Ни о какой литературной работе в данных условиях не может быть и речи. Моя семья – жена с двумя маленькими детьми 7 и 2 лет – без средств к существованию высланы в глушь Кировской области (г. Уржум). <...>

Перед правительством, правительством и народом – моя совесть чиста: никакого преступления перед ними я не совершал. То, что случилось с моей поэмой («Торжество земледелия». – В. М.), – результат моих постоянных литературных поисков, где ошибки неизбежны. Одна из моих невольных ошибок стала роковой для меня и моей несчастной семьи.

Как быв. «ший» член ССП, прошу правление Союза обратиться по моему делу в ЦК ВКП(б). Прошу дать компетентный отзыв о моей литературной работе, о её художественном и политическом значении. Дело моё должно быть заново пересмотрено. Предварительное обвинение меня в принадлежности к контр-рев. «олюцинной» писательской организации, которая, во главе с Н. С. Тихоновым, будто бы печатала в ленингр. «адской» прессе свои контр-рев. «олюционные» литературные произведения, – должно быть окончательно и полностью снято, и писатели Лившиц Б. К. и Тагер Е. М., давшие “показания” по этому делу, должны быть изоблечены как лжесвидетели.

Правление должно учесть, что дело идёт о физической и литературной жизни советского поэта, который на благо советской культуры готов отдать все свои силы и способности».

Впоследствии он обратился с письмом и к Сталину...

Следователь Ленинградской прокуратуры Ручкин, принявший к разбирательству дело Заболоцкого, по очереди вызывал писателей и дотошно расспрашивал их.

Среди других были вызваны секретарь писательской парторганизации Г. Мирошниченко, рецензент-консультант НКВД Н. Лесючевский и даже комендант Дома на Грибоедова А. Котов. Ни парторг, ни комендант художественного слова о Заболоцком – поэте и человеке – не сказали. Лишь доносчик Лесючевский твердил своё: антисоветчик.

По предложению прокуратуры была создана представительная комиссия Ленинградского отделения Союза писателей, и она заключила:

«Работа Заболоцкого в советской литературе, протекавшая на глазах у литературной общественности Ленинграда, его творческая деятельность, его участие в общественной жизни Союза писателей, его облик как человека и гражданина не давали никаких оснований для сомнений в том, что он является подлинным советским писателем, прямым и искренним человеком, заслуживающим уважения всех знавших его».

Следователь Ручкин оказался честным и смелым: обстоятельно разобравшись в деле поэта, он пришёл к выводу, что Заболоцкий осуждён необоснованно. «В январе 1940 года следствие было закончено и дело вновь переслано в Москву с благоприятным заключением Ленинградской прокуратуры». Верховному прокурору было предложено «возбудить вопрос об отмене постановления Особого Совещания при Наркоме внутренних дел СССР от 2.IX – 38 г.».

Казалось бы, ещё немного – и справедливость будет восстановлена... но вдруг дело застопорилось. Мало того, что канцелярская карательно-судебная машина, заваленная прошениями, работала медленно и неверно, так ещё ей помешал НКВД. «Органы» неожиданно влезли в дело и затребовали у А. А. Фадеева характеристику на Заболоцкого. Хотя Фадеев дал положительный отзыв, к его словам не прислушались. Чекисты считали, что они работают без ошибок. В деле появился новый донос Лесючевского – на этот раз он обвинял следователя Ручкина, что тот покрывает антисоветчика. Скорее всего, это было игрой двух силовых систем, из которых одна – НКВД – была куда как мощнее, чем пытающаяся соблюсти объективность Прокуратура. К тому же пора чекистской «оттепели» подошла к концу – и страну снова *подморозило*... В июне 1940 года Прокуратура сообщила Е. В. Заболоцкой, что в пересмотре дела её мужа отказано.

Екатерина Васильевна долго скрывала этот ответ от мужа, опасаясь, что это сознёт его волю. Но со временем он сам всё понял. И не сломился, продолжил борьбу. Как и жена его, которая не оставила свои почти безнадежные хлопоты.

В октябре 1940 года Е. В. Заболоцкая обратилась с письмом к секретарю Сталина Поскрёбышеву. А в ноябре – написала самому вождю:

«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Посылаю Вам тоненькую книжечку стихов Н. Заболоцкого. Отдельные строчки из этих стихотворений даже сейчас, когда Заболоцкий больше двух с половиной лет в заключении, читаются по радио, – так близки они нашей жизни.

Я умоляю Вас о внимании к делу поэта Заболоцкого. Больше года я ходатайствую о пересмотре дела Н. А. Заболоцкого и добиться пересмотра не могу. Материалы по делу переданы мною на имя т. Поскрёбышева, но никакого ответа я не имею.

Зная Вашу любовь и внимание ко всем людям, я решаюсь тревожить Вас и просить Вашей помощи.

Помогите мне вернуть сыну и маленькой дочери отца и снять с советского поэта позорное клеймо врага народа.

С глубоким уважением и любовью: *Е. Заболоцкая (...)*.

Вряд ли Сталин читал её письмо, – это же не «Горькая симфония» (хотя, вполне возможно, он и этого стихотворения не читал, доподлинно не известно, – город детства он не любил и никогда туда не возвращался...).

ЦК партии направил письмо в НКВД. Понятно, что ответили *органы*: для пересмотра дела нет оснований.

Этот ответ Екатерина Васильевна получила уже перед самой войной.

ВОЙНА

С началом войны Дальний Восток стал похож на прифронтовую зону: на рубеже стоял враг – японцы. Куда пойдёт огромная армия самураев? Ещё недавно, в конце тридцатых, советские войска дважды схватывались с японскими – на озере Хасан и на Халкин-Голе. А если японцы снова нападут, пользуясь тем, что фашистская Германия наступает на западе?..

На случай войны существовала секретная инструкция о том, что делать с лагерями заключённых. Никто не знал её содержания, но уже на второй день после начала войны в проектно-отделе, где работал Заболоцкий, стало известно: лагерь срочно перебрасывают из города на общие работы.

Сборы были торопливыми; Заболоцкий успел написать домой короткую записку:

«24 июня 1941.

Родная Катенька, милые детки!

С этой колонны уезжаю. Я вполне здоров. По прибытии на новое место и при первой возможности напишу и сообщу адрес. Не волнуйся очень, если письмо придёт не скоро. Любимая моя! Целую твои ручки. Сколько можно, береги детей и себя.

Твой Коля».

Следующая, столь же короткая весточка от него датирована 14 ноября 1941 года. Долгие месяцы они почти ничего не знали друг о друге...

Этот период – самый «тёмный» в жизни поэта. О том, где он был с конца июня по середину ноября, достоверно мало что известно. В карточке заключённого, заведённой на него как на всякого, лишь отмечено, что в июле Заболоцкий работал на стройке № 3 Нижне-Амурского лагеря. Но где была эта стройка, там не указано.

В письмах поэт не рассказывал о своих злоключениях. Лишь в 1944 году, когда жена с детьми приехала к нему на Алтай, вдали от соглядатаев, он мог поведать Екатерине Васильевне об этом времени. Но всё осталось между ними; сын-подросток до таких разговоров, конечно, не допускался...

Десятилетия спустя Никита Николаевич, собирая материалы для жизнеописания отца, узнал некоторые подробности этого периода от товарища Заболоцкого по лагерю, Гургена Георгиевича Татосова. Вот что Н. Н. Заболоцкий пишет в своей книге о начале войны:

«(...) начались срочные преобразования лагеря. Ужесточился режим, ухудшилось питание. В бараках прошёл слух, что в случае вторжения японских войск на советский Дальний Восток все заключённые будут уничтожены. На второй день (...) Заболоцкий уже знал, что заключённых из проектного отдела отправляют на самые тяжёлые работы в тайгу. Он подал заявление с просьбой послать его, обученного командира взвода, на фронт, но оперуполномоченный, хмуро взглянув в бумагу, проворчал: “У Советской страны достаточно более достойных защитников. Без вас обойдёмся”».

Заболоцкий вскоре ещё раз просился на фронт – с тем же результатом.

В феврале 1944 года в своём письме в Особое совещание НКВД он вновь выразил готовность с оружием в руках бороться против фашистов – и вновь окажется «недостойным»...

«Заключённых с вещами под усиленным конвоем привели на пристань и начали распределять по баржам для переправы через Амур в Пивань. Начальником проектно-сметного отдела был тогда вольнонаёмный Воронцов, человек отнюдь не сочувствующий “контрикам”, но понимавший, что порученное ему дело невозможно выполнять без заключённых-специалистов. Возможно, он что-то знал о чёрных замыслах начальства и подозревал, что после переправы может остаться без работников. Приехав на пристань, он ринулся к строю заключённых и с дикой руганью стал вытаскивать за шиворот своих сотрудников и толкать их в отдельную группу. Втащил он туда и Заболоцкого. Начальство и охрана не стали противодействовать этому решительному и властному человеку.

Этап погрузили на баржи и, несмотря на штормовую погоду – сильный ветер и большие волны, стали переправлять через Амур. Баржа с партией, из которой Воронцов вытащил своих работников, утонула вместе со всеми заключёнными. Заболоцкий был уверен, что её потопили специально, и считал, что он, как и весь отдел, обязан Воронцову жизнью. Это хладнокровное жестокое уничтожение людей Николай Алексеевич помнил до конца своих дней».

После этого тягостного происшествия надо было переправляться самим. Ждали самого худшего – но обошлось.

Их, проектировщиков, было 25 человек; держались вместе. Грузовиком группы повезли в глушь на восток, к предгорьям Сихотэ-Алиня. Была ночёвка в какой-то зоне, где среди ночи пришлось драться с местными уголовниками за собственную одежду, без неё в тайге не выжить, – Заболоцкий бился вместе со всеми: грабёж был предотвращён. На утро путь продолжился.

«Кругом простиралась бесконечная тайга, среди которой попадались опустевшие лагерные зоны, окружённые колючей проволокой, с неизменными сторожевыми вышками. Прибыли наконец к месту назначения под названием Лысая гора, расположенному на берегу красивейшей таёжной речки Хунгари (правый приток Амура). Но не до любования красотами природы было заключённым. Вновь их ждала зона с уголовниками, вновь – длинные грязные бараки с общими нарами, вновь – строгий режим и тяжёлая физическая работа. Отвыкли они уже от всего этого за время работы в проектном бюро и особенно за время жизни в Комсомольске. Таких ужасных условий, как в зоне на Хунгари, не было, пожалуй, и в худшие времена общих работ в посёлке Старт».

Строили железную дорогу на Советскую гавань. Ломом и киркой дробили скалу, камень грузили в тачку и сбрасывали под откос. И так от рассвета до темна. Царил закон: пока не дашь норму – не имеешь права покинуть карьер, работай хоть всю ночь. В их группе было двое пожилых людей, до ареста в руках не державших лопаты: выполнить задания никак не могли, как ни старались. Г. Г. Татосов вспоминал: «...» тогда мы все сговорились, чтобы оставаться со стариками и за них доделывать работу. Мы все – означает наша группа – человек 12. Охрана пошла на это с удовольствием, так как ей тоже не хотелось торчать всю ночь в карьере, и делала нам скидку на норму. Первым о помощи несчастным людям заговорил Николай Алексеевич, и мы приняли его предложение, так как нельзя было оставить людей на гибель».

Стариков – спасли...

Кормёжка на Хунгари была крайне скудной: 300 граммов хлеба и черпак жидкой баланды; передовикам добавляли 100 граммов хлеба и чего-то вроде каши. На такой изнурительной работе, в тайге, где заедали гнус и комары, никто бы долго не протянул, – да, вполне возможно, на это всё и было рассчитано.

...Что виделось поэту – через десять с лишним лет – карьер ли на реке Хунгари, Лысая гора, посёлок Старт или какое-нибудь другое место – когда у него склады-

вались строки стихотворения «Воспоминание»? Может быть, просто перед ним маячил некий зыбкий, потусторонний, одновременно мёртвый и живой, врезанный в сердце образ *его Дальнего Востока*, – и лучше всего было бы насовсем позабыть про него, да только вот невозможно...

Наступили месяцы дремоты...
То ли жизнь действительно прошла,
То ль она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить – не нравятся ей вина,
Хочет есть – кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поёт.

Он поёт о той стране далёкой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется берёза,
Корневищем вправленная в лёд.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывёт.
1952

Проектировщикам снова повезло: через два месяца про них вспомнили. Краю был нужен нефтепровод – было решено восстановить проектный отдел. Напоследок измученным, отошавшим людям пришлось одолеть под вооружённым конвоем с собаками 120-километровый переход по тайге.

«Прибыли на Лесную биржу, поселились в общем бараке, и всех послали на лесоповал, на погрузку брёвен. Осенний холод, вода по колено, и голод, и нет курицы, и нет сил... – пишет Никита Заболоцкий. – На Лесной бирже вновь образовалось проектное бюро, и это принесло облегчение. Но жили по-прежнему вместе с уголовниками, питались крайне плохо, часто по авралу выходили на общие работы – валили лес, грузили его в вагоны. Голод усиливался. Заключённые поели всех кошек и собак, были случаи людоедства. Многие, возвратясь в зону с работы, бросались к выгребным ямам у барака-столовой и рылись там в надежде найти что-нибудь съестное. Даже среди работников проектного бюро возникали ссоры из-за лучшего куска, из-за очерёдности на горбушку хлеба.

Однажды Заболоцкому и Татосову повезло – их послали на разгрузку машины с кочными капусты. Такого рода работы поручали только политическим заключённым – уголовники слишком много съедали или похищали. В награду за работу получили по кочну капусты, которые тут же съели.

Так на Лесной бирже прошло ещё около двух месяцев <...>».

И только в ноябре проектировщиков перевели в уже знакомый им посёлок Старт близ Комсомольска.

Пять месяцев Заболоцкий не мог переписываться с женой; по доходившим до него слухам он знал, что Ленинград взят в кольцо, и с тревогой думал о судьбе семьи.

14 ноября 1941 года поэт наконец смог отправить Екатерине Васильевне короткую весточку о себе:

«Милая Катя!

Я здоров и на старой работе. Мой адрес: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99, пос. Старт, Колонна 51 (Ширпотреб), мн. Жду твоего письма. Последнее было от 5 июля. <...>».

Чудо! – почта доставлялась и в заблокированный немцами город. Эта почтовая карточка добралась до дома на канале Грибоедова. «В самое трудное, жестокое время, в рождественский день 7 января 1942 года, – пишет Никита Заболоцкий, – опухшая и обессиленная от голода Екатерина Васильевна увидела эту открытку в почтовом ящике ленинградской квартиры. Как же весточка от мужа обрадовала и поддержала её и детей!»

Сыну Заболоцкого тогда было девять лет, дочери – пять.

«Через месяц, – продолжает он, – семья Заболоцкого эвакуировалась из блокадного города по ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро и попала в специальный медицинский стационар при ткацком льнокомбинате в Костроме. Там в течение месяца страдающих дистрофией ленинградцев лечили и постепенно вводили в нормальный режим питания и человеческой жизни».

Только через два года, из письма жены, Заболоцкий узнал, что пережила его семья в блокадном Ленинграде и как была спасена. Тогда же он получил в письме стихотворение сына, написанное его детским неуклюжим почерком:

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Свищут снаряды, бомбы летят,
По улицам города люди спешат.
Они спотыкаются, падают замертво.
По гладкому снегу санки скользят,
В санках трупы голодных ребят.
В квартире люди с коптилкой сидят
И горькие отруби ложкой едят...

Поэт сохранил письмо сына; под его стихотворением приписал: «Эти стихи 10-летний Никита сочинил в квартире Шварца (во время блокады). Продолжение было:

И говорят всё о том и о том,
Когда же нам хлеба прибавят».

Незадолго до эвакуации в квартиру Евгения Львовича Шварца угодила во время обстрела снаряд – и взорвался в комнате, где никого не было. Семья Заболоцких ютилась на кухне (своей квартиры они уже были лишены) – и не пострадала...

Переписка с женой понемногу восстанавливалась, хотя уже не была регулярной. В письмах Заболоцкого появилось новое слово – «сносно». О себе писал коротко и одно и то же: сыт, одет, обут, «живу сносно». На самом деле, было не совсем так, как он сообщал жене, точнее – совсем не так. Однако он не хотел ничем беспокоить Екатерину Васильевну, ей и без этого хватало...

Снести, перенести, вынести – можно многое: он и сносил, переносил, выносил – не жалуясь на невыносимое.

...Через два года, в феврале 1944-го, отбыв полный срок наказания и ещё дополнительно год заключения, поэт обратился с письмом в Особое совещание

НКВД СССР. С потусторонним достоинством и запредельной точностью, суровой и страшной словесной формулой Заболоцкий тогда определил своё существование в тюрьме и лагере: «Я нашёл в себе силу остаться в живых после всего того, что случилось со мною».

Некоторые историки сталинизма утверждают, что в первые годы войны наши потери на Западе (в войсках) и на Востоке (в лагерях) были примерно равны. Так оно или не так, вряд ли возможно в точности узнать. Одно известно: с началом войны рабочий день эков возрос, а паёк, и ранее голодный, был до предела урезан – и смертность в зонах резко увеличилась.

«В одну из мобилизаций на общие работы в тайгу Заболоцкий с товарищами попал на место, куда свозили и где потом сжигали погибших заключённых, – пишет его сын. – Был морозный зимний день, и Николай Алексеевич некоторое время смотрел на груды трупов, запорошенных снегом. То там, то здесь из-под снега торчала замёрзшая скрюченная рука или нога. Видно, эта картина глубоко запала в его память, если он в последний год своей жизни вспомнил о ней, когда писал о давних странствиях по Сибири французского монаха Рубрука:

Ещё на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.

Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мёртвая рука».

Эти две строфы взяты из главы «Дорога Чингисхана». Очень похоже, что у этой главы имеется не только прямое значение, но и потаённое – символическое, ведь по Сибири, испытавшей в первой половине XX века новое чингисханство, шесть лет путешествовал и новый Рубрук – сам автор:

Он гнал коня от яма к яму,
И жизнь от яма к яму шла
И раскрывала панораму
Земель, обугленных дотла.

*В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Ещё пылал Чингисов путь. <...>*

С утра не пивши и не евши,
Прислушивался, как вверху
Визгливо вскрикивали векши
В своём серебряном меху.

*Как птиц тяжёлых эскадрильи,
Справляя смертную кадрили,
Кругами в воздухе кружили
И простирались на сто миль.*

*Но, невзирая на молебн
В крови купающихся птиц,
Как был досель великолепен
Тот край, не знающий границ! <...>*

*Так вот она, страна уныний,
Гиперборейский интернат,
В котором видел древний Плиний
Жерло, простёршееся в ад!*

*Так вот он, дом чужих народов
Без прозвищ, кличек и имён,
Стрелков, бродяг и скотоводов,
Владык без тронов и корон!*

*Попарно связанные лыком,
Под караулом там и тут
До сей поры в смятенье диком
Они в Монголию бредут.*

*Широкоскулы, низки ростом,
Они бредут из этих стран,
И кровь течёт по их коростам,
И слёзы падают в туман.*

На четвёртый год заключения у Заболоцкого вдруг на миг прорвалась глубоко запрятанная страсть к сочинительству. Правда, он позволил себе лишь стишки – шуточные строки. Они были обращены к верному товарищу по испытаниям, Татосову, – и впоследствии Гурген Георгиевич весьма сожалел, что послание Заболоцкого не удалось сберечь.

Началось с того, что лагерное начальство решило использовать юриста Татосова в своих арбитражных разборках. На суд в арестантском бушлате не придёшь, и ему позволили выписать с воли приличный костюм. Потом услуги зэка уже не понадобились, – и он выменял за своё парадное одеяние двадцать пять пачек махорки, вмиг став настоящим богачом. Курева заключённым всегда не хватало. Тогда-то Заболоцкий и написал к приятелю шуточное обращение в стихах. «Больше всего жалею, – вспоминал Татосов в 1972 году, – что у меня украли на раскурку лист бумаги, где был рисунок Николая Алексеевича и его стихи – 16 чеканных строк... <...> Как-то, когда я собирался лечь спать и откинул одеяло, увидел, что к подушке был пришпилен лист, на котором изображён я огромного роста с нимбом вокруг головы, а внизу у моих ног на коленях стоял маленький Николай Алексеевич, простирая ко мне руки. Сверху был заголовок: “Моление о махорке”. Я был приравнен ко всем скупцам мира, наиболее порядочным из которых был Гарпагон, и мне категорически предлагалось выдать махорку. Стихи были великолепными, рисунок тоже, и я до сих пор не могу забыть об этой потере».

Через год, в 1943-м, заканчивался его срок, и Заболоцкий стал подумывать о том, чем бы можно зарабатывать на воле. У Татосова появился новый знакомый – соплеменник, лагерный парикмахер Рубен Мхитчрян, в отличие от Гургена Георгиевича хорошо говорящий по-армянски. Заболоцкий тоже сдружился с ним и начал учиться у него армянскому языку – наверное, для будущих литературных

переводов. Из отработанной чертёжной бумаги сшил себе книжку для записей, озаглавив её: «Армянский язык. Словарь. 1942», – и первым делом начертил в ней армянский алфавит. Потом он вписывал в неё слова по тематическим разделам: человек, дом, природа, деревня и т. д., записывал народные песни и стихи в оригинале и дословном переводе. Через какое-то время поэт настолько продвинулся в учёбе, что мог поддерживать простой разговор с товарищами по-армянски.

7 августа 1942 года он писал жене:

«...» Милая Катя, это после годового перерыва – первое твоё письмо, которое я получаю, до сих пор были одни телеграммы. Из Никитушкиного письма я узнал отчасти о тех мытарствах, которые вам пришлось испытать. Друг мой, как хотел бы я помочь тебе и утешить тебя... Я знаю, и без письма я чувствовал, как тяжело тебе. Не падай духом, моя родная. Сама знаешь – всем сейчас нелегко. Надо бороться с силами и уж как-нибудь до конца вытерпеть эти беды. Иного выхода нет. Не век же они будут продолжаться.

Весной кончится мой срок, и мы как-нибудь будем налаживать нашу жизнь.

«...»

Пиши только правду о здоровье и жизни. Уже одно то, что я по временам буду слышать тебя, – будет для меня счастьем, – многие не имеют этого счастья».

Екатерина Васильевна с детьми к тому времени перебралась в Уржум. Кое-как устроилась с жильём, нашла работу – воспитательницей в интернате для эвакуированных детей. Муж стремился хоть чем-то помочь им – и добивался в управлении, чтобы его небольшие деньги на счета были перечислены жене.

О себе по-прежнему в основном молчал:

«Никаких особенных новостей у меня нет. Жизнь, конечно, стала сложнее, поэтому стали примитивнее желания, и больше уходит времени на то, что раньше делалось само собой. Не всегда бывает махорка, которую я стал курить значительно меньше, но бросить которую всё ещё не могу. Да, признаться, и не слишком хочется – ведь это последняя забава, которая ещё более или менее доступна мне. А кроме того, – бросишь курить – увеличится аппетит, что тоже не устраивает» (30 августа 1942 г.).

Порой, за неимением махорки, зэки раскуривали мох, сухие листья, – о настоящем табаке даже и мечтать не приходилось. Каково же было однажды Заболоцкому, развернувшему в посылке жены объёмистый пакет с двумя курительными трубками, кисетом и ящичком трубочного табака. Потом на воле он вспоминал, что это было из области чудесных неожиданностей. Это был подарок от известного переводчика классики Михаила Леонидовича Лозинского, с которым в Ленинграде у Заболоцкого и знакомство-то было отдалённым...

Однажды поэт попросил Екатерину Васильевну узнать про судьбу его брата Алексея; потом повторил просьбу. Не ясно, ответила ли ему жена: письма ходили плохо. Жена Алексея и сёстры Заболоцкого тогда знали только одно: пропал без вести. До войны Алёша был гидробиологом в Петергофе; в начале военных действий записался в ополчение и в сентябре 1941 года попал в плен. Как потом он сам вспоминал, первые месяцы плена были ужасны, и лишь попав на работу к латвийским крестьянам, сумел выжить. Затем, в 1943 году, его вместе с другими пленными угнали в Германию. «На мою долю выпало работать на “классических” каторжных работах – в каменоломнях Гарца, где люди “доходили” от непосильного труда, непрерывного голода и зверского отношения со стороны немцев. Последние полгода плена я не выходил из лазаретов. «...» Нас освободили американцы 14 апреля 1945 г. «...»» Так что в 1942–1943 годах, когда Николай Заболоцкий хотел узнать о судьбе младшего брата, никто ему ничего толком ответить не мог...

Прерывисто, как пересыхающая река, в коротких письмах и телеграммах шла переписка Заболоцкого с женой. Лишь 19 марта 1943 года он смог написать её подробнее:

«Моя милая Катя!

Открытку твою и письма от 30/ХІІ, 19 и 21 янв. я получил, и посылку от 30 окт. получил тоже уже давно, о чём уже писал тебе. Спасибо за всё.

Я здоров и на днях, очевидно, уезжаю отсюда на Алтай. Я оставлен здесь до конца войны, но, если уеду, буду жить значительно ближе к тебе, и письма будут ходить, вероятно, быстрее. Там, куда мы едем, говорят, значительно дешевле, чем здесь, и климатические условия мягче. Впрочем, как только я приеду на новое место (и это будет, вероятно, в начале мая), я тебе сразу напишу и сообщу новый адрес.

Так, мой друг, я вступаю в новый период своей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства уже притупились, и продолжение несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случилось 5 лет назад. Я знаю, что мои дети нуждаются в моей жизни, остаток которой ещё может быть полезен для них. Поэтому будем жить и работать добросовестно, как и до сих пор.

Невесёлую жизнь устроил я тебе, помимо желания, но крепись, моя Катя. Может быть, когда-нибудь мы с тобой – старые старикашки – будем сидеть около печечки, рука в руку, вспоминая горькое прошлое, а наши большие умные дети с любовью и заботливостью будут оберегать наш покой и украшать нашу старость. Целую твои ручки, моя хорошая, только будь здорова и не теряй ровность характера. <...> Может быть, приехав на место, я попрошу тебя через Евг. Льв. (Евгения Львовича Шварца. – В. М.), чтобы он послал мне какие-нибудь куртку и брюки, хотя старые. Но об этом потом.

До свидания, милая, будь здорова.

Твой Н. Заболоцкий».

В тот же день он написал письма детям – каждому отдельное письмо.

Никитушку благодарил за его письмо, говорил, что рад – сын хорошо учится и делает уже меньше ошибок, наставлял – нужно работать каждый день, терпеливо и настойчиво, тогда и самому и людям будет когда-то польза. «И ещё я рад, что с сестрёнкой ты живёшь дружно. Береги её, мальчик. Она у нас самая маленькая, как цветочек. Мама на работе. А ты, сколько можешь, смотри за цветочком, чтобы он хорошо рос и чтобы никто его не обижал. <...>

Когда я вернусь к вам, мы с тобой познакомимся по-настоящему, а теперь будем пока переписываться. <...>».

Дочь Наташеньку тоже благодарил за «письмецо и картинки». Писал, как носил её на руках, убаюкивая и напевая колыбельную:

«Ты послушаешь меня и заснёшь, глупенькая. А Никитка спал в своей кровати рядом с тобой. Однажды вечером мама ушла куда-то, а я работал в своей комнате. Прихожу посмотреть, вижу – Никитка свалился с кровати вместе с одеялом и спит на ковре, даже не проснулся. Маленькие ещё вы были.

А теперь тебе уже скоро будет шесть лет, ты уж и буквы знаешь и писать немножко умеешь.

Расти, доченька, большая и умная. <...>

Папа любит тебя и всегда о тебе помнит».

* * *

Тогдашним товарищам своим – свидетелем совсем немного – Заболоцкий запомнился человеком внешне замкнутым, немногословным, погружённым в свои мысли. Лагерь отнюдь не располагал к откровенным разговорам: среди заключён-

ных были осведомители, которые сообщали о «настроениях» начальству, – и все, конечно, об этом хорошо знали.

Г. Г. Татосова поражало, что и в страшных условиях Николай Алексеевич не менялся характером, оставаясь «таким же чистым, мягким, добрым». Он признавался, что поэт был для него примером: «Всегда успокаивал меня и говорил: только не опуститься, не потерять своего сокровенного».

Инженеру И. С. Сусанину (Заболоцкий делил потом с ним жильё в алтайском селе) запомнился случай на авральных работах: однажды в минуту отдыха на сопке Заболоцкий сорвал большой красный цветок и задумчиво разглядывал его, потом вдруг сказал товарищам: «Станем мы после смерти такими вот цветами и будем жить совсем другой, непонятной нам сейчас жизнью».

...И дочь свою он видел – маленьким цветочком...

«Пройдёт несколько лет после того разговора о цветке, – пишет сын в биографии отца, – и Заболоцкий напишет в известном стихотворении “Завещание”:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу».

Глава семнадцатая АЛТАЙ – КАРАГАНДА

КОСТЁР НА ПЕРЕСЫЛКЕ

Свой сороковой день рождения Николай Заболоцкий встречал ещё на Дальнем Востоке, в ожидании нового путешествия – на этот раз в сторону обратную.

Каково было ему узнать, что заключение его продлевается на неопределённый срок, что в качестве невольника он *оставлен до конца войны?*

Несмотря на все усилия, его дело так и не было пересмотрено, и он отбыл весь пятилетний срок – *от звонка до звонка*, – и вот, вместо свободы, новая неволя. Сколько ещё ждать?.. Конечно, хребет фашистской орде был уже переломлен – в 1942-м в Сталинграде – и немца уже теснят на запад, но сколько ещё продлится война? Этого никто не ведал, – даже чуть позже, после победы на Курской дуге, враг был ещё силён ...

В мае 1943 года Нижне-Амурлаг, постоянно кочующий лагерь строителей железных дорог, начал переезд из Комсомольска на Алтай. Впрочем, *переезд* – слово слишком мирное, гражданское; для заключённых это, конечно, – этап. Со всеми его прелестями: долгой дорогой, грязными теплушками, конвоем с собаками, бесконечными пересчётами-поверками, пересыльными зонами. И что там ещё их всех ждёт, после изнурительного пути, на новом месте?..

На одной из лесных пересылок с поэтом случайно познакомился инженер М. М. Гиндилис, впоследствии оставивший воспоминания:

«...» я увидел человека, разжигавшего костёр, чтобы дымом защититься от комаров и мошек. Я подошёл и стал помогать поддерживать огонь, а потом мы вместе сидели у костра и после довольно продолжительной раскачки у нас завязался разговор. Мы посетовали, что труд, затраченный на строительство железнодорожных подходов к БАМу, в основном пропал зря. Но шла жестокая война – фронту требовались демонтированные рельсы и пролёты мостов. Утешало, что во время эксплуатации уже построенных веток из глубинной тайги на фронт было вывезено много брёвен лиственницы для блиндажей, лежневых дорог и других надобностей.

Кроме того, после снятия рельсов сохранились просеки, полотно дорог, устои мостов и другие сооружения, которые смогут быть использованы для будущих работ на БАМе. Незаметно мы перешли к другим темам. Обстоятельства лагерной жизни нас не занимали. У каждого за плечами было несколько лет заключения, и первые переживания и впечатления уже приглохли. Но нас волновало, какой выйдет страна из тяжёлых испытаний и невиданных бедствий войны... Сигнал на проверку прервал беседу.

Я сразу почувствовал, что судьба столкнула меня с человеком большой глубины, высоких моральных устоев и твёрдых принципов. На следующий день мы снова встретились и представились друг другу. Оказалось, мой вчерашний собеседник – Николай Заболоцкий, поэт. Такое неожиданное знакомство! Мы поговорили немного о литературе. («... Больше на Алтае мы не встречались, так как были направлены в разные подразделения Алтайского лагеря НКВД»).

Таёжная пересылка, зуд комаров, молчаливый поэт у костра... О чём он думал тогда? Наверное, осмысливал свою сорокалетнюю жизнь... свой новый приговор к подневольному труду, к творческой немоте.

Ровно через десять лет, в 1953-м, Заболоцкий, достигший полувекового рубежа, написал один из своих шедевров – стихотворение «Сон»: теперь он смотрел на пройденный путь словно с какой-то высоты, которая казалась потусторонней и самой жизни, отстранённой от неё в запредельные дали. И жизнь, с её тяготами в лагерях, страданием, когда снова и снова ему приходилось находить в себе силу, чтобы не сломиться, уцелеть, представлялась ему сном, растворившим в своей призрачной сущности тот потаённый смысл, который был ей задан и являлся её назначением:

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.
Там человек едва существовал
Последними остатками привычек,
Но ничего уж больше не желал
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.
Участник удивительной игры,
Не вглядываясь в скученные лица,
Я там ложился в дымные костры
И поднимался, чтобы вновь ложиться.
Я уплывал, я странствовал вдали,
Безвольный, равнодушный, молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Ещё имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, но частью мирозданья.
Там по пространству двигались ко мне
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:

Сплетенье ферм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почёте,
И не заметно тягостей труда,
Хотя весь мир в движении и работе.
И в поведенье тамошних властей
Не видел я малейшего насилья,
И сам, лишённый воли и страстей,
Всё то, что нужно, делал без усилья.
Мне не было причины не хотеть,
Как не было желания стремиться,
И был готов я странствовать и впредь,
Коль то могло на что-то пригодиться.
Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше матерьялен, чем духовен.
Мы с мальчиком на озере пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.

Помолчим... Поэзия не нуждается в толковании, – не растолкуешь.

Поэзия надеется на одно – на со-чувствие и на великое безмолвие, в котором душа созерцает душу.

Но треск сучьев в костре, вспыхи искр, языки пламени, всякий раз неповторимые, неуловимые, которые можно лишь следить глазами, что-то невыразимое при этом понимая, ей не мешают.

В КУЛУНДИНСКИХ СТЕПЯХ

По прибытии на Алтай Заболоцкий отправил жене телеграмму. Всего пять слов: «Здоров вышлите костюм немного белья».

Костюм – видимо, в расчёте на будущую работу в проектном отделе, так как поначалу его определили в разнорабочие на содовом заводе, расположенном близ степного озера.

Кулундинские степи, село Михайловское...

В селе лишних домов, конечно, не было; бараков же тут не успели или же попросту не посчитали нужным построить. Заключённые поселились в землянках.

Строили железнодорожную ветку от станции Кулунда до содового завода.

«Каждый день в сопровождении конвоя группа заключённых проделывала восьмикилометровый путь через степь, сосновый лесок и болотце – к заводу на озере, – пишет Н. Н. Заболоцкий. – Здесь, под палящими лучами уже летнего солнца, по колено в насыщенном растворе углекислого натрия вычерпывал Заболоцкий содовую жижу. Много он уже испытал в лагерях – и карьеры, и лесоповал, и земляные работы, и голод, и морозы, но до сих пор его крепкий организм со всем этим справлялся. А тут не выдержал – подвело сердце. Не склонный жаловаться, он тем не менее написал жене из Алтайского края: “В начале лета мне было чрезвычайно трудно”».

В письме от 9 ноября он пишет, что чувствует себя удовлетворительно, «хотя сердце начинает гулять».

Всего две фразы – подробности остались *за кадром*.

«Тяжёлая работа на содовом заводе продолжалась месяца два, после чего Заболоцкого пришлось отправить в лазарет, – сообщает биограф. – Перечитывая в 1956 году свои старые лагерные письма к жене, он сделал пометку: “Тогда, после летних работ на содовых озёрах, врач находил у меня декомпенсацию. Я весь распух и болел долгое время”. Врач лазарета, жена инженера Архангельского, рассказывала потом, что она старалась возможно дольше поддержать в лазарете истощённого, обессилившего и опухшего Заболоцкого, исцеляя его в основном отдыхом и больничным питанием. Её муж способствовал определению ещё слабого Николая Алексеевича на чертёжную работу в управление Алтайлага. Снова умение делать технические чертежи спасло Заболоцкого от непосильного физического труда, а возможно, и гибели».

А в письмах ничего – про истощение и долгий лазарет, зато много о вкусных и дешёвых огурцах, арбузах, помидорах, о молоке – о всей этой «волшебной-приятной пище», от чего он давно отвык и к которой не сразу «приспособился желудок».

Екатерине Васильевне очень хотелось увидеть мужа, Алтай не Дальний Восток – теперь они были ближе друг к другу, и свидание вроде бы возможно, но Заболоцкий отговаривает жену:

«Относительно твоей поездки – рискованное это дело. Я не знаю, дадут ли свидание. Денег потратишь много. В дороге мученья. Да и мы можем отсюда уехать обратно. Как ни тяжело, а не советую, Катя. И рад бы всей душой увидеться, но разум подсказывает другое. И ни к кому не ездят. И детей как оставить?»

Надо ждать. Может быть, уж не так долго осталось» (29 ноября 1943 г.).

Из письма жены он наконец узнал о судьбе брата Алексея: с 1941 года числится пропавшим без вести.

Тогда же, в ноябре, он получил первое письмо от Николая Степанова и узнал о судьбе своих старых друзей – Даниила Хармса и Александра Введенского. Оба поэта умерли, сообщил Степанов, но о подробностях промолчал: поостерёгся... Лишь потом, на свободе, Заболоцкому стало известно, что Хармс скончался в ленинградской тюремной больнице в феврале 1942 года, а Введенский погиб ещё раньше – на этапе заключённых, арестованных в Харькове, в конце 1941 года.

В «Прощании с друзьями» (1952) ему мнилась та новая страна безвременно сгнивших товарищей молодости, где «вместо неба – лишь могильный холм», однако от его друзей даже могил на земле не осталось. Около полувека многие их стихи и поэмы ждали света (напечатаны лишь в конце 1980-х годов), – и Заболоцкий вряд ли сумел увидеть хоть что-то из рукописей. Если бы прочёл – наверняка бы по достоинству оценил последние, гениальные поэмы Александра Введенского, которого как поэта он когда-то в молодости недолюбливал и который в них вдруг распрощался напоследок со своей вечной «звездой бессмыслицы». Какая-то земная и одновременно неземная, запредельная музыка звучит в них – может быть, в предвидении, – которое даётся не столько поэту, сколько самим его стихам, – скорого прощания с жизнью:

Осматривая гор вершины
их бесконечные аршины
вином налитые кувшины
весь мир, как снег прекрасный
я видел тёмные потоки

я видел бури взор жестокий
и ветер мирный и высокий
и смерти час напрасный.

Вот воин плавая навагой
наполнен важною отвагой
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в волшебные ладони
кладёт огонь лихой погони
и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.

Вот лес глядит в полей просторы
в ночей несложные уборы
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной.
в пустом смущенье чувства прячем
а в ночь не спим томимся плачем,
мы ничего почти не значим
мы жизни ждём послушной <...>

Летят божественные птицы
их развиваются косицы
халаты их блестят как спицы
в полёте нет пощады
Они отсчитывают время
они испытывают бремя
пускай бренчит пустое стремя
сходить с ума не надо.

Пусть мчится в путь ручей хрустальный
пусть рысью конь спешит зеркальный
вдыхая воздух музыкальный
вдыхаешь ты и тленье.
возница хилый и сварливый
в вечерний час зари сонливой
гони гони возок ленивый
лети без промедленья.

Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье
На смерть! На смерть! держи равненье
поэт и всадник бедный.

(«Элегия», 1940); орфография и пунктуация здесь
и в следующем произведении – авторская. – В. М.)

В поэме «Где. Когда» (1941) Александр Введенский прощается уже со всем на свете:

прощайте тёмные деревья
 прощайте чёрные леса
 небесных звёзд круговращенье
 и птиц беспечных голоса.

 прощай цветок. Прощай вода

 Спи. прощай. Пришёл конец
 за тобой пришёл гонец
 он пришёл последний час
 Господи помилуй нас.
 Господи помилуй нас
 Господи помилуй нас.

 Прощай тетрадь
 Неприятно и нелегко умирать.
 Прощай мир. Прощай рай
 ты очень далёк человеческий край. <...>

Так они и исчезли, его друзья, – лёгкие, как тени, с тетрадями своих стихотворений...

«БАЛЛАДА О БАЛАНДЕ»

Чем ближе продвигались наши войска к западной границе, тем лучше становилось настроение в тылу. Люди слушали радио и в газетах первым делом читали сводки информбюро, на работе или дома по карте отмечая линию фронта. Заболоцкий, конечно, был внимательнее многих: победа – это ещё и его свобода. В одном из писем он признавался жене, что голос Левитана стал для него дороже всех других голосов.

В канун Нового, 1944 года он поздравил жену и детей – и высказал свою заветную надежду – что этот год «<...> принесёт нам победу и приблизит час нашей встречи». Он окреп после болезни и духом стал бодрее:

«Здесь установилась настоящая русская зима, знакомая мне с детства. Она мягче и солнечнее, чем в Комсомольске; много снега, и мне доставляет удовольствие ходить на работу и обратно – по настоящему сосновому перелеску, занесённому снегом. Я тепло одет и не страдаю от холода. Куртка очень хороша на работе – тёплая и лёгкая» (23 декабря 1943 г.).

Янтарные стволы сосен в лучах восходящего солнца, тёмно-зелёные хвойные лапы, искрящийся снег – радость! – тут и про конвой забудешь...

Николай Степанов к тому времени вернулся с семьёй из эвакуации в Москву и попытался вновь помочь Заболоцкому. Он пришёл к Фадееву в Союз писателей. Фадеев уверил Степанова, что ознакомился с ранее переданными ему бумагами и пришёл к выводу, что Заболоцкий не виновен. Получив от Степанова новое ходатайство, подписанное известными писателями, Фадеев пообещал содействовать освобождению поэта.

В начале января 1944 года Заболоцкого вызвали в посёлок Благовещенку близ Кулунды для встречи с каким-то начальником из органов безопасности, прибывшим с инспекцией на Алтай.

В камере пересыльной тюрьмы судьба, как нарочно, свела Николая Алексеевича с четырьмя молодыми людьми, так или иначе связанными с литературой. Общество было таким: два студента из Свердловска, получившие по «червонцу» за издание рукописного журнала, девятнадцатилетний поэт Тедди Вительс и молодой стихотворец Асир Сандлер. Они оживлённо беседовали в камере о литературе, читали друг другу стихи, спорили, смеялись. Новый арестант молчал и казался необщительным. Табачком, однако, поделился, но на вопросы, кто он такой: зэк, ссыльный или спецпоселенец, ответил неопределённо, что и сам толком уже не поймёт. О своей работе выразился тоже непонятно: «Чертим разные бумажки». На допросы вызывали по номерам, и до поры до времени никто его имени не знал.

Впоследствии, в письме к Никите Николаевичу Заболоцкому от 22 апреля 1978 года, А. С. Сандлер вспоминал:

«Меньше всего я думал, что передо мной один из крупнейших поэтов России. На следующую ночь его вызвали. Пришёл уже под утро. Проснулся перед обедом в отличном настроении.

– Ну что ж, живём, мальчики?! – Помолчав, протёр очки. – Подслушал я краем уха, как вы стихата почитываете. Может, прочтёте мне что-нибудь нехрестоматийное?»

Асир Сандлер было начал, но незнакомец остановил его:

«– Да ну, ребята, я же просил вас не Велимира Хлебникова, а что-нибудь своё».

Однажды двое свердловчан устроили в камере спиритический сеанс. Вызвали дух Льва Толстого, задавали ему вопросы. Дух отвечал. Заболоцкий поначалу не хотел участвовать в балагане, но в конце концов поддался на уговоры и спросил:

– Когда я буду дома, Лев Николаевич?

Блюдце вертелось вокруг начерченных букв и наконец выдало мудрёный ответ:

– После империалистической буффонады.

В другой день, когда у юношей сводило от голода в желудке, Тедди и Асир додумались до того, что решили вместе сочинить балладу о баланде. И тут их старший годами товарищ, сдержанный и молчаливый, неожиданно оживился и сказал, что готов присоединиться. Но на одном условии – если сначала будет выработан твёрдый, строгий план, – «чем нас очень удивил».

Вскоре баллада, которая потом стала широко известна в ГУЛАГе, сделавшись частью лагерного фольклора, была готова. Вот она (курсивом выделены строки, принадлежащие Николаю Заболоцкому):

*В Шервудском лесу догорает костёр,
К закату склоняется день.
Охотничий нож и жесток, и остёр –
Сражён благородный олень.*

*Кровавое мясо соками шипит
И кроется ровным загаром...
И фляга гуляет, и ляжка хрустит –
Охотились день мы недаром.*

Хрустальные люстры сияние льют,
Джаз-бандом гремит казино:
Здесь ломится стол от серебряных блюд
И кубков с янтарным вином.

Изящный француз запекает слугу,
От виски хмельны офицеры...
Слегка золотится фазанье рагу
Под соусом старой мадеры.

Чалмою завился узорчатый плов,
Пируют Востока сыны, –
Здесь время не тратят для суетных слов,
Молчанию нет здесь цены.

И вкрадчиво пальцы вплетаются в рис,
А жир ароматен и прян!
И красные бороды клонятся вниз,
Туда, где имбирь и шафран.

*Огромная ложка зажата в руке,
Кушак распустил белорус:
Горшок со сметаной, и щи в чугушке,
И жирной говядины кус.*

*И тонет пшено в белизне молока,
И плавает в сале картошка!..
Проходит минута – и дно чугушка
Скребёт деревянная ложка.*

Но сочный олень и фазанье рагу,
И нежный, рассыпчатый плов,
И каша, что тонет в молочном снегу,
И вкус симментальских быков...

*Ах, всех этих яств несравненных гирлянда
Ничто по сравненью с тобой, о баланда!*

В тебе драгоценная кость судака,
И сочная гниль помидора,
Омыты тобой кулинара рука
И грязные пальцы надзора!

Клянусь Магометом, я вам не солгу,
Хоть это покажется странным,
Но кость судака – благодатней рагу,
Крапива – приятней шафрана.

Пусть венгры смакуют проклятый гуляш,
Пусть бигосом давятся в Польше,

А нам в утешеньё – чудесный мираж,
Тебя, ненаглядной, побольше.

Вот окончание этого письма А. С. Сандлера, по форме – изящной новеллы:

«Наступил час, когда мы должны были расстаться. За день до этого на вечерней проверке дежурный сказал:

– Заболоцкий! Готовься, завтра уйдёшь!

Вечером все долго молчали. И вдруг Тедди взорвался:

– Как вам не стыдно, Николай Алексеевич! Я думал, вы бухгалтер, а вы ведь поэт Заболоцкий?! Почему же вы об этом не сказали раньше?

– А что бы это изменило?

– Я считаю себя поэтом совсем молодым и неопытным, но поэтом. Сколько же я вам прочёл бы и узнал от вас! Это же академия!

Николай Алексеевич, отечески улыбнувшись, ответил:

– Литературой и поэзией будем заниматься после “империалистической буффонады”. Кажется, так нам обещал Лев Толстой? Работай всё время, всюду и каждый день. Первую книжку пришлешь мне на рецензию. А ты, – это уже ко мне, – версификатор, отличный версификатор на уровне многих. Но – не надо. Ты по призванью журналист, найди свой стиль, себя и – с богом!

Он ушёл, оставив нам весь свой запас табаку. И перед уходом:

– Так значит, в Москве, после буффонады...

Сказано совершенно будничным, ровным, тихим голосом, без малейшей аффектации.

Прошло тринадцать лет. В 1957 году писатель Натан Забара после реабилитации уезжал в Киев. В списке лиц, с которыми он хотел встретиться, был и Н. Заболоцкий. Я передал с ним записку. В ней был мой магаданский адрес и сообщение, что месяцев через десять буду на материке, увидимся. А подпись была такая: “В Шервудском лесу костёр догорел. Асир”.

Через месяц получил открытку, крайне лаконичную: “Поторопись. ‘К закату склоняется день’. Н. З.”.

В ноябре 1958 года я прибыл в Москву... С опозданием».

...Молодой же поэт Тедди Вительс не дожил до своей первой книги – погиб в заключении.

ПОМИНАЛЬНАЯ МИЛОСТЫНЯ

Таким и запомнился в пересыльной тюрьме близ Кулунды сорокалетний Николай Заболоцкий ранее не знакомым с ним молодым людям. Поначалу он показался им необщительным, молчаливым, серьёзным, целиком занятым какими-то своими мыслями, при том, по повадкам, это был уже опытный, уверенный в себе зэк. А затем поняли: перед ними человек чрезвычайно умный, внутренне свободный, острый на слово – чеканно чёткий в определениях и совершенно естественный, без малейшей позы. Его голос звучал ровно и тихо – и точно так же жил и дышал в нём сильный и ничем не поколебимый дух.

Судя по его письмам начала и середины 1944 года, в Заболоцком в то время происходили важные перемены. Если говорить коротко: он обретал мудрость. (Хотя, разумеется, это – довольно условное и неполное определение совершающихся в его мировоззрении и характере изменений.) Творческая сила не перегорала в нём, а переплавлялась в некое новое качество; он будто бы предчувствовал, что рано или поздно, по выходе на свободу, ему предстоит осуществить то, что

прежде совершать ещё не приходилось, – и собирался в себе в единое целое, мужал, крепнул.

Впервые за годы заключения он вспомнил о своих стихах: в письме от 11 января 1944 года спросил жену, сохранились ли черновики «Осады Козельска»? Эту поэму (первые две части) Заболоцкий писал как раз перед арестом в 1938 году, одновременно работая и над переводом «Слова о полку Игореве». Екатерина Васильевна все черновики сохранила. Очевидно – поэт намеревался в скором времени вернуться к незавершённым вещам...

Настроения его резко менялись, что говорит о переоценке былых ценностей в результате напряжённой работы духа.

11 января он пишет жене, как его взволновало её сообщение об отзыве Фадеева (речь шла о пересмотре приговора Особого совещания), а не прошло и двух недель, как замечает в новом письме (от 23 января):

«Но теперь я думаю, что всё это – старые дела. Ведь всё на свете забывается. Может быть, 2-3 человека ещё и помнят обо мне. Но что значит их слабый голос в грохоте и потрясениях наших дней! От судьбы не уйдёшь – как говорит народ».

В том же письме Заболоцкий – внешне отстранённо, но, несомненно, с чувством глубокого внутреннего потрясения – формулирует открытие, сделанное им за пять лет лагерей (ранее мы его уже цитировали, но оно настолько важно, что не грех и повторить – теперь уже в контексте времени):

«Как это ни странно, но после того как мы расстались, я почти не встречал людей, серьёзно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир – это только маленький остров – в океане равнодушных к искусству людей».

Не менее значимым кажется нам и признание, сделанное в письме к Н. Л. Степанову (4 февраля 1944 г.):

«Несколько лет путешествовала со мной твой книжечка Баратынского, и я полюбил его и вместе с ним разлюбил многое, что любил когда-то так сильно».

Разумеется, здесь в первую очередь речь – о поэзии.

В этом же письме он благодарит верного друга за всё, походя весьма и весьма скромно отзываясь о собственной персоне, – и это отнюдь не пресловутая ложная скромность (которая на поверку – самолюбование), но истинное отношение к самому себе:

«Я рад, мой дорогой, что ты до сих пор ещё помнишь обо мне, и я крепко жму твою руку и душевно благодарю тебя за твоё неизменное внимание к моим близким. Катя – хороший человек, она заслуживает доброго отношения к ней; что касается меня – то всё твоё внимание ко мне я отношу только за счёт твоих качеств; я же, право, не заслужил ничем ни твоего, ни других людей расположения».

Ещё одно признание звучит в следующем письме к Степанову (от 29 марта 1944 г.):

«Как-нибудь соберусь с духом и напишу тебе особое письмо – *о природе*, которую я видел на Дальнем Востоке и здесь. Она на меня производит такое впечатление, что *иной раз я весь перерождаюсь*, оставаясь с ней наедине.

Эта могучая и мудрая сила таким животворным потоком льётся в душу, что сам я в эти минуты делаюсь другим человеком.

О, Судьба знает, что она делает.

Я хотел бы остаток моей жизни, если он будет мне предоставлен, жить не в большом городе» (курсив мой. – В. М.).

Но самое поразительное письмо обращено к сыну, которому было тогда двадцать лет:

«6 июня 1944. «Михайловское, Алтайского края».

Милый Никита!

Я получил твоё письмо, твои отметки хороши, я рад, что ты хорошо учишься. Стихи твои (речь идёт о ранее приводившемся стихотворении про ленинградскую блокаду. – В. М.) мне тоже понравились, и главным образом тем понравились, что в них почти нет лишних слов; всё описано кратко, сжато, даже сурово как-то, и мне кажется, у тебя так получилось именно потому, что ты сам испытал на себе всю ту жизнь, которую ты изображаешь. Мне было бы интересно прочесть всё твоё стихотворение целиком; жаль, если ты его не вспомнишь.

Я живу лучше, чем раньше, и всё больше надеюсь, что мы довольно скоро встретимся. И я очень бы хотел, чтобы все вы – и ты, и мамочка, и Наташенька – были живы-здоровы и мужественно перенесли все те трудности, которые ещё осталось вам перенести.

Недавно произошёл со мной любопытный случай, о котором я хочу тебе написать.

Я шёл на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу – сзади меня кто-то окликает. Оглянулся, вижу – с кладбища идёт ко мне какая-то старушка и зовёт меня. Я подошёл к ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко варёное.

– Не откажите, примите.

Сначала я даже не понял, в чём дело, но потом сообразил.

– Похоронили кого-нибудь? – спрашиваю.

Она объяснила, что один сын у неё убит на войне, второго похоронила здесь две недели тому назад, и теперь осталась одна на свете. Заплакала и пошла.

Я взял её бублики, поклонился ей, поблагодарил и пошёл дальше.

Видишь, сколько горя на свете у людей. И всё-таки они живут и даже как-то умеют другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою поминальную милостыню мне <...>.

Весь день я ходил, вспоминая эту старушку, и, вероятно, долго её не забуду. <...>».

Отметим, ни жене, ни другу поэт об этом случае не рассказал – только сыну-подростку.

Милостыня осиротевшей старушки стала, несомненно, одним из самых сокровенных воспоминаний Заболоцкого. Через тринадцать лет, за год до кончины, оно разрешилось стихотворением «Это было давно», где сюжетом – тот самый «любопытный случай» у сельского степного кладбища на Алтае:

Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шёл по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг за свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,

И творя поминанье,
 В морщинистой тёмной руке
 Две лепёшки ему
 И яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило
 В душу его, и тотчас
 Сотни труб закричали
 И звёзды посыпались с неба.
 И, смятенный и жалкий,
 В сиянье страдальческих глаз,
 Принял он подаянье,
 Поел поминального хлеба.

Это было давно.
 И теперь он, известный поэт,
 Хоть не всеми любимый,
 И понятый также не всеми, –
 Как бы снова живёт
 Обаянием прожитых лет
 В этой грустной своей
 И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,
 Как добрая старая мать,
 Обнимает его...
 И бросая перо в кабинете,
 Всё он бродит один
 И пытается сердцем понять
 То, что могут понять
 Только старые люди и дети.

В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ

Селений с названием Михайловка, Михайловское – в честь архистратига Михаила – не считано на Руси.

Первым приходит на ум пушкинское Михайловское на Псковщине: его знают все. А вот про одноимённое село в Кулундинской степи не знает никто.

И в том и в другом селе, в разные эпохи, томились два поэта: Пушкин и Заболоцкий, – и оба они были там невольниками.

Пушкин, сосланный в родовое гнездо, терпел царскую опалу; Заболоцкий – и вовсе был заключённым. Пушкин сочинял в Михайловском стихи, «Бориса Годунова» – Заболоцкий, через сто с лишним лет – если что и писал, то лишь письма домой да заявления в НКВД. Пушкин спешил верхом к милым барышням в Тригорское – Заболоцкий ежедневно пешком шёл на работу: сначала на содовый завод, который его едва не угробил, потом в чертёжное бюро.

Этим и отличаются – в отношении к поэзии – тёмные дореволюционные времена (как пропаганда ещё недавно представляла царскую Россию) и светлые послереволюционные времена (как она же отзывалась о советской власти).

«Милая Катя, вчера я сдал большое заявление о пересмотре моего дела – на имя Наркома Вн. «утренних» Дел для передачи в Особое совещание», – сообщил Николай Алексеевич жене 18 февраля 1944 года.

Из двух писем Екатерины Васильевны он только что узнал в подробностях, что же произошло с его семьёй до эвакуации из блокадного Ленинграда. «Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на неё, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие героини, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то ещё впереди будет...»

Сдать письмо в НКВД – отнюдь не значило, что его тут же отправят в Москву к наркому. Через полтора месяца, 30 марта, Заболоцкий пишет, что его заявление наконец ушло по адресу, но скорого ответа он не ждёт и надеется его получить летом или к осени.

Печальным было это его весеннее письмо к жене.

Он узнал из газеты о смерти Ю. Н. Тынянова и скорбит: «Несколько дней хожу под тяжёлым впечатлением этой утраты. Юрий Николаевич был всегда так внимателен ко мне, с первых шагов моей лит. «ературной» работы, и я был ему во многом обязан», – писал он жене. (А другу, Николаю Степанову, про Тынянова – даже подробней: «Конечно, имя его будет крепко связано с новым периодом развития русского исторического романа, и он мог бы, очевидно, ещё много сделать, если бы не болезнь. Взыскательность учёного боролась в нём с полётом художника – и это едва ли не первый прецедент во всей истории нашей литературы. Я отстал от жизни и не знаю – в каком состоянии оставил он своего “Пушкина” (...).».)

Вздыхает о своей неволе: «Не знаю уж, друг мой, когда и как окончатся наши приключения. После твоего письма как-то особенно мучительно стало жаль детей. Им нужен отец, особенно Никите. Я очень это чувствую, и с каждым годом всё больше. Мне кажется, мы сошлись бы с мальчуганом. Нехорошо, что эта мысль об отце будет такой болезненной в его сердце».

Пишет о своём настроении: «Здесь весна, и я давным-давно хожу в одной телогрейке. Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны пахнёт в лицо, – так захочется жить, работать, писать, общаться с культурными людьми. И уж ничего не страшно – у ног природы и счастье, и покой, и мысль».

Зато его пространное письмо-заявление в НКВД совсем другое по духу: чеканное, полное достоинства, гордости, безупречно логичное – и в словах дышит твёрдость, стойкость и духовная сила:

«1. Как могло случиться, что в передовой стране мира человек, не совершивший никакого преступления, отсидел в лагерях положенные ему 5 лет и оставлен в заключении до конца войны? Ошибки судебных органов 1937–1938 гг. памятны всем. Частично они уже исправлены. Но всё ли исправлено, что было необходимо исправить? Прошло уже 6 лет. Не пора ли заново пересмотреть некоторые дела, и в том числе ленинградского поэта Заболоцкого? Он всё ещё жив и всё ещё не потерял веры в советское правосудие».

Кратко обрисовав путь в литературе, поэт назвал критику «Правды» в свой адрес извращением сути его творчества:

«Должен признаться, что смысл происшедшего далеко не сразу был осознан мной. Я был твёрдо уверен, что нашёл новое слово в искусстве. Уже многие мне подражали; на меня смотрели как на зачинателя новой школы. Большие писатели, авторитетные люди читали наизусть мои стихи. Менее всего я считал себя антисо-

ветским человеком. Я осознавал свою работу как обогащение молодой советской поэзии. И, несмотря на это, центральный орган партии отверг меня. <...>

В расцвете творческих сил, преодолев формалистические тенденции прошлого, получив литературный опыт, я был полон новых больших замыслов. Начал стихотворный перевод “Слова о полку Игореве”. Довёл до половины историческую поэму из времён монгольского нашествия. Предстояла огромная работа по первому полному переводу Фирдоуси “Шах-наме”.

Неожиданный арест разрушил мои замыслы и оборвал литературную жизнь! Далее Заболоцкий в пух и прах разбил все обвинения, выдвинутые против него, не забыв упомянуть о чудовищных методах следствия, которые довели его до временной невменяемости:

«Помню, что все остатки сил духовных я собрал на то, чтобы не подписать лжи, не наклеветать на себя и людей. И под угрозой смерти я не отступал от истины в своих показаниях, пока мой разум хотя в малой степени подчинялся мне.

Но разве я могу быть уверенным, что злонамеренно-преступное следствие не воспользовалось моей невменяемостью и не использовало его для фабрикации нужных ему “документов”?»

Он вновь назвал клеветой те показания свидетелей, которые легли в основу его приговора.

В последних, девятом и десятом пунктах заявления Заболоцкий пишет: «Если бы я был убийцей, бандитом, вором, если бы меня обвиняли в каком-либо конкретном преступлении, – я бы имел возможность конкретно и точно отвечать на любой из пунктов обвинения. Моё обвинение не конкретно, – судите сами, могу ли я с исчерпывающей конкретностью отвечать на него?

Меня обвиняют в троцкизме, – но в чём именно заключается мой троцкизм – умалчивают. Меня обвиняют в бухаринских настроениях, но в чём они проявились – эти бухаринские настроения, – мне не говорят. Происходит какая-то чудовищная игра в прятки, и в результате – загубленная жизнь, опороченное имя, опороченное искусство, обречённые на нищету и сиротство семья и маленькие дети. <...>

Я прошу внимания к себе. Я нашёл в себе силу остаться в живых после всего того, что случилось со мною. Все шесть лет заключения я безропотно повиновался всем требованиям, выносил все тяготы лагеря и безотказно, добросовестно работал. Вера в конечное торжество правосудия не покидала меня. Мне кажется, я заслужил право на внимание. (Заметим в скобках: *торжество правосудия* оказалось такой же утопией, как *торжество земледелия*. – В. М.) <...>

Сейчас я ещё морально здоров и все свои силы готов отдать на служение советской культуре. Несмотря на болезнь (у меня порок сердца), я готов выполнить свой долг советского гражданина в борьбе с немецкими захватчиками. У меня нет и не было причин считать себя врагом Советского государства.

Я прошу Особое совещание снять с меня клеймо контрреволюционера, троцкиста, ибо не заслужил я такой кары, – совесть моя спокойна, когда я утверждаю это. Я мог допустить литературную ошибку, я мог быть не всегда разборчивым и достаточно осмотрительным по части знакомств, – но быть контрреволюционером, нет, им я не был никогда!

Верните мне мою свободу, моё искусство, моё доброе имя, мою жену и моих детей».

Что же ему в конце концов ответили на всё это? –

Осуждён правильно.

Жалобу оставить без удовлетворения.

* * *

Сын агронома припомнил вдруг по весне уржумский огород и отцовы делянки, – впрочем, не только крестьянская кровь проснулась, надо было и подкрепиться от земли. Без разрешения начальства и куст картошки не посадишь, но начальство было не против. Вместе с товарищем по лагерю инженером Иваном Семёновичем Сусаниным Заболоцкий разбил небольшой огород. Клочок земли на окраине села обнесли колючей проволокой, вскопали землю, унавозили. Посадили они несколько десятков кустов картофеля, морковь, огурцы, потом, добыв рассады, и помидоры. «Если доживём до осени, – писал он жене, – то думаем подкормиться на овощах. – И прибавил: – Рядом с нашим огородом уже появился другой, и ещё совсем маленький – третий. Пример паразителен».

Про свой огород он сообщал ещё не раз – в подробностях и чуть ли не любовно: так нравилось возиться на земле, наблюдать, как вырастают овощи, проверять, не пора ли копать молодую картошку. Раздобыв семена, посадили ещё тыкву и дыни. Уже в середине июля они с напарником снимали с грядок свои огурцы. Радовались частым дождям: поливать лишний раз не надо.

Екатерине Васильевне было не до этих маленьких радостей подневольного существования. В то время она писала ему:

«20 апреля 1944.

Дорогой мой, милый Коля! Близится день твоего рождения. Боже мой, седьмой год уходит из жизни. И где след, оставленный этими годами? В нашем сердце, а жизнь так и прошла мимо. <...>

На день твоего рождения я желаю тебе дожить до старости тихой, уютной. Молодости больше нет, её не вернёшь. Годы зрелой жизни исковерканы, задавлены. Дети у нас подрастают. Может быть, в них мы увидим то, что упустили в своей жизни. Сейчас, за тяжестью жизни, я и их не вижу. Видишь, я даже в Никите не могу поддерживать интерес к переписке с тобой. Он не знает, что тебе писать. Я должна бы его направлять. А я никуда не гожусь. <...>».

Николай Алексеевич успокаивал жену:

«Получил ещё письмо твоё от 20 апр. Оно такое печальное. Моя милая, ты твёрдо помни теперь одно: самое тяжёлое уже за плечами, оно уже прожито. Теперь очень важно не сдать эти последние тяжёлые месяцы. Я очень надеюсь, и имею на это основания, что судьба моя может скоро измениться, и, может быть, час нашей встречи даже ближе, чем мы думаем.

Ты пишешь – “жизнь прошла мимо”. Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжёлыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнёшься, отдохнёшь, разберёшься в своих мыслях и чувствах, – ты поймёшь, что недаром прошли эти годы; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу, – и она, хотя и израненная, – будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде».

Далее – очень важное – о самом себе:

«Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чём не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми её радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».

Заболоцкий ещё внимательнее, чем раньше, следил теперь за сводками с фронтов, радуясь наступлению наших войск. Ему казалось, что конец войны уже близок, и это заряжало его бодростью.

В конце мая он получил письмо от Вениамина Александровича Каверина. Старый товарищ напомнил поэту про его работу над переводом «Слова о полку Игореве»: дескать, хорошо бы довести это дело до конца. Каверин убеждённо утверждал: перевод Заболоцкого займёт достойное место в современной литературе... Без сомнения, Николай Алексеевич и сам уже подумывал вернуться к «Слову», однако ему хотелось приступить к работе – свободным. Судя по всему, ждать оставалось недолго: знакомые в управлении шепнули, что начальство, учитывая добросовестный труд заключённого Заболоцкого, отправило в центр ходатайство о его досрочном освобождении.

СНОВА ВМЕСТЕ

18 августа 1944 года Николай Заболоцкий наконец обрёл свободу, хотя ещё далеко не полную. Из заключённого лагерника он сделался *директивником* – как называли тех, кого освобождали по специальной директиве органов безопасности: то есть стал вольнонаёмным в системе лагерей до окончания войны. Самостоятельно выбирать работу и место проживания он не имел права, а любая провинность могла тут же обернуться для него зоной. Поводок вместо цепи, который в любое мгновение готов сделаться цепью. Но всё-таки по сравнению с прежней жизнью это была почти что воля.

«Моя милая Катя!

Уже 10 дней прошло после моего освобождения, и я только теперь могу написать тебе письмо. Сразу на голову свалилось столько дел и хлопот, что едва хватило времени, чтобы послать тебе телеграмму. Получила ли ты её?» – писал он жене 29 августа. И далее подробно рассказывал, что да как:

«Не исключена возможность, что в дальнейшем я попаду в Армию, но пока оставлен здесь и оформлен в должности техника-чертёжника с окладом 600-700 руб. в месяц и снабжением, которое следует по должности. Оно вкратце сводится к следующему: хлеба 700 гр., обеды и завтраки в столовой, ну, и ещё какие-то блага, в курс которых я ещё не вошёл. Всё это не бог весть как жирно, но по нашему времени, в особенности – по сравнению с тем, что было у меня недавно, – это очень хорошо. Жизнь значительно изменилась, я питаюсь сытно и вкусно.

Вместе со мной освободились два инженера, и мы трое усиленно ищем квартиру, т. е. комнату в крестьянской избе. Несмотря на то, что мы на это затратили много времени и хлопот, – пока ещё ничего твёрдого не получили, но надеемся в скором времени всё же найти пристанище. Пока же ютимся на краю села в грязноватой избушке, но это – временно.

Таким образом, милая Катя, хотя моя жизнь коренным образом изменилась, но это не совсем то, что ты ждала. По всей видимости, я имею право выписать к себе семью, но т. к. мы здесь кончаем свои дела и через месяц-полтора выезжаем отсюда по новому назначению (ещё неизвестно куда), то делать это пока бессмысленно, и нужно, по крайней мере, ждать того времени, когда мы приедем на новое место и оседем там. Трудно сказать – где это будет <...>.

Пока же ты должна порадоваться за меня, успокоиться и ещё набраться немного терпения.

Теперь поговорим с тобой о мелочах житейских. Вышел я одетый во всё лагерное, но мне оставили кое-что из казённых вещей. На мне рабочие ботинки – грубые, но крепкие, старенькие защитного цвета штаны и куртка, есть две смены старого казённого белья, матрацный тюфяк, наволочка, полотенца 2, моё старое зелёное одеяло (уже с дырками), та меховая куртка, которую когда-то ты мне послала,

шапка, дырявые валенки. Железный котелок и деревянная ложка завершают моё богатое имущество. Всё остальное сорвала с меня жизнь и развеяла во все стороны во время моих злоключений.

Через несколько дней начальство обещает одеть меня в новый бумажный костюм и выдать новое одеяло – по казённой цене. Это уже хорошо, т. к. это даёт мне возможность принять более или менее человеческий вид.

Физически я чувствую себя отлично, выгляжу хорошо и, говорят, – моложе своих лет. Сейчас уже поспели арбузы, они очень дешёвы, и все мы едим их очень помногу, и я всё вспоминаю вас, как бы я вас покормил арбузами, если бы вы были со мною!»

Его семья всё ещё жила в Уржуме. Екатерина Васильевна рвалась в родной Ленинград, но муж сомневался в необходимости да и возможности переезда туда: жене вчерашнего заключённого вряд ли разрешили бы поселиться в северной столице. Заболоцкого беспокоили даже сами поезда: «Вот ещё что: если придётся тебе ездить: ради бога, будь осторожна и не попадись под поезд. У нас тут вчера был несчастный случай, и я очень боюсь за тебя». Тревожило и другое: вдруг жена придет, а их уже увезли в другое место: «Мы – люди странствующие; живём на месте, пока идёт стройка, закончится она – мы едем дальше, куда назначат. Это может быть и Крайний Север, и Дальний Восток, и Средняя Азия и т. д.»

Заболоцкий предостерегал жену от поспешных решений, считая, что поездка к нему ещё невозможна, да и детям не стоит пропускать занятия в школе. Вновь объяснял жене, что он всего лишь директивник и не пользуется всеми гражданскими правами: по любому поводу надо обращаться с рапортом к начальству.

Однако его доводы Екатерину Васильевну не убедили. В своих воспоминаниях она писала о тогдашнем своём настроении:

«Теперь, когда не разделяет нас ни тюремная решётка, ни лагерная проволока, почему я с детьми не должна стремиться к нему, почему я не могу преодолеть нас разделяющее расстояние? Ждать? Чего ждать? Ведь столько раз за эти годы и Николай Алексеевич, и я с детьми подвергались смертельным опасностям, но судьба сохранила нас. И тем более, если его могут отправить на фронт, я должна спешить, чтобы он смог до фронта увидеть семью. Ведь он столько лет мечтал об этом! И не могла понять, почему он десять дней не мог сообщить нам о своём освобождении. Поняла потом: он сохранился таким, каким был – обстоятельным, разумным, сдержанным, без эмоциональных порывов, которые были свойственны мне. Хотел разъяснить, что означает освобождение по директиве, какие его права, что ждёт нас, когда мы приедем к нему, искал комнату. Готовился взять на себя ответственность и заботы обременённого семьёй человека».

Жена забрасывала его письмами, и наконец Николай Алексеевич решил подать рапорт о воссоединении семьи.

«И вот в начале ноября все наши документы на выезд в порядке, и мы готовы к отъезду, – вспоминала Екатерина Васильевна. – С собой мы старались взять побольше продуктов (овощей с огорода), засушили чёрных сухарей, даже водка у нас оказалась – её выдали к Октябрьским праздникам. Но с нами едут и рукописи начатого перед арестом перевода “Слова о полку Игореве”, и частично сохранившиеся материалы, нужные для продолжения работы. (...)

Все оставляемые вещи и немногие рукописи я уложила в корзину и снова отдала на попечение хозяйки – Евдокии Алексеевны. (...)

Не помню, сколько длилась дорога, как и что мы ели, как пересаживались на другой поезд в Татарской... Мысли стремились только вперёд... Но приезд в Михайловку 17 ноября 1944 г. запомнила на всю жизнь.

В Кулунде у нас снова была пересадка. По недавно построенной заключёнными ветке железной дороги мы доехали да станции Михайловка. Здесь около путей стоял маленький домик, где дежурил диспетчер. Железнодорожная ветка ещё не была сдана и находилась в ведении лагеря. Дежурный был предупреждён, что к бывшему заключённому едет семья. Он должен был по телефону (по селектору) сообщить в управление о нашем приезде, чтобы за нами выслали лошадь. Николай Алексеевич был не уверен, что сможет сам приехать за нами. Расписания регулярного не было, мы не знали, когда точно приедем, он мог быть на работе. Вблизи “станции” не было ни одного дома – посёлок был километра за три.

Дежурный, молодой паренёк, был внимателен, рассматривал нас с интересом. Стал звонить в управление и вдруг предложил: “Хотите, я сейчас позову его к телефону?” Это было совсем неожиданно. Все годы меня преследовал страх – каким я его увижу...»

В последний раз они виделись ровно шесть лет назад, в Крестах. То было их единственное тюремное свидание. Екатерине Васильевне было известно, что Заболоцкий целых две недели провёл в больнице для сумасшедших. Она вглядывалась тогда через разделявшую их решётку в лицо мужа, но следов болезни не заметила. Вид, конечно, был у него бледный, какой-то затравленный. И слова её вроде бы не все хорошо слышал... Но между ними был барьер в метр шириной, по которому ходил охранник, и рядом стояли другие люди, пришедшие на свидание с арестантами, и все вокруг кричали...

«Все эти годы вставали передо мной это лицо, решётка. Каким он стал теперь? И вот в телефонной трубке его голос – радостный, бодрый. Нет, человек не сломлен!

Поверить, что пройдет совсем немного времени, не годы, не день, совсем немного, и я увижу его, – невероятно. Но это будет!

Дежурный устроил нас на прямоугольном деревянном диване направо от двери. Комнатка совсем маленькая, с большой печью. Вот уже стемнело. Дети дремлют, сидя на диване, а я всё выхожу посмотреть, не едут ли. Но нет, не едут. Уже совсем темно. Небо в звёздах. Степь, тишина. Казалось, я не могу при свете с ним встретиться, можно не вынести счастья. Всё нет, всё нет. Я сижу подольше. И наконец выскакиваю и сталкиваюсь в дверях.

Папа, который не терпел никакой аффектации, опустил перед детьми на колени, смотрел, смотрел...

И вдруг конюх, приехавший с Николаем Алексеевичем, приглушённым голосом:

– Начальство!

Конюх, Николай Алексеевич, диспетчер – все вытягиваются в струночку, руки по швам, молча приветствуют начальство. Начальство приехало по своим делам, на нас не обратило внимания, но мне стало жутко».

Вот тебе и вся свобода!..

Скорее бы от неё подальше...

«Мы погрузились в запряжённые деревенские сани-кресло: папа и я на сиденье, дети в ногах на вещах. Чтобы после тёплого помещения дети не простудились, я с головами накрыла их пледом, и они радостно стали ворковать: “Папунчики, Колюнчики, лапунчики”. Над нами купол звёздного неба, сани поскрипывают по снежной равнине, и хочется, чтобы этот путь был подлиннее, но мы быстро доехали.

Радушно нас встретила пожилая хозяйка. Вскипятила самовар, поставила на стол хлеб, солёный арбуз. Жила она в избе с дочерью Нюрой, но дочь редко бывала дома – с обозом возила зерно в город за много километров. Изба была общая.

Хозяйка спала на печи. В нашем распоряжении были две кровати. Под одной из них жили чесоточные бараны. По избам их раздал колхоз, чтобы они были в тепле и не заражали стадо.

Никакие неудобства нас не огорчали: ведь мы были, вся семья, вместе. Трудная зима в Михайловском была, пожалуй, самой уютной для нашей семьи. Ещё не ушло, ещё осязалось, стояло за спиной всё пережитое. Чудо нашего соединения освещало жизнь радостью, питало нежность и доброту в наших отношениях».

И сыну-подростку запомнился день встречи с отцом – похudevшим, быстрым в движениях, весёлым и словно помолодевшим. Запомнились пироги с паслёном, которыми потчевала их, детей, в избе старушка-хозяйка, и невиданное лакомство – солёный арбуз. На столе горела керосиновая лампа без стекла, и в её свете мерцали иконы в красном углу, а к тёплым бокам русской печи молча жались бараны...

Теперь по вечерам вся семья собиралась вместе. Родители рассказывали друг другу о том, что пережили в разлуке, и под эти тихие разговоры отца с матерью дети мирно засыпали. Потом оба ребёнка заболели корью; отец ходил за ними и каждый вечер приносил издалека, с работы, большой бидон чистой воды, потому что в хозяйском колодце вода была соленовата, и Никита не мог её пить.

Мальчика поражало, что его отец всё умел делать своими руками – и хорошо: чертить и рисовать, колоть дрова и чинить что ни сломается. Из старых конторских папок он склеивал замечательные коробки, в которых хранил разные вещицы. В одной из таких коробок, оклеенной гранитолем, лежали его курительные принадлежности – табак, папиросная бумага, мундштук и кустарная зажигалка. Эта коробка, приятно пропахшая табаком, казалась особенно уютной. Вообще, самые простые вещи, побывавшие в руках отца, становились по-домашнему уютными и привлекательными: они будто бы обретали своё необходимое место в том ладе и порядке, который всюду он создавал вокруг себя.

Отцовские уроки иногда были совершенно неожиданными. Однажды он очень рассердился на сына и дочь. Гуляя как-то зимой на пустыре у дороги возле дома, они протоптали, немало потрудившись, на только что выпавшем снегу крупными буквами полушутливую надпись: «Никита и Наташа глупые, мама умная, папа – самый умный». Родители, вернувшись с рынка, конечно, всё увидели. Отец вдруг отругал детей, мать расстроилась. Никита с Наташей не могли понять, в чём они провинились. Пришлось детям снова лезть в снег и затаптывать своё изречение. Дома Николай Алексеевич наконец объяснил сыну, что для него это надпись была опасной: ««...» о бывшем заключённом, о “враге народа” нельзя говорить, что он самый умный. Такое заявление кто-нибудь может истолковать как не смирение, как детское восприятие более серьёзных разговоров в семье». Для тринадцатилетнего мальчика, признавался впоследствии Н. Н. Заболоцкий, это был очередной полезный урок, который он понял и запомнил. Мир не без добрых людей, но ведь и не без злых...

Вот ещё одно удивительное воспоминание сына:

«Как-то вечером в полутьме избы отец запел “Выхожу один я на дорогу...”. Пел он очень хорошо и очень грустно, потом остановился. Мама попросила петь дальше. И отец запел дальше: “Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть”. С тех пор я не помню, чтобы отец пел серьёзно. Вообще откровенные душевные проявления не были свойственны сдержанному его характеру».

Те несколько месяцев в степном алтайском селе Михайловском так и остались навсегда в его памяти как счастливое время, несмотря на то что жильё было тесным, и питались они скудно, и частенько были нездоровы:

«Мы снова были вместе, а радио приносило радостные известия о победоносном продвижении нашей армии на запад. Все понимали, что близится победа, что конец войны не за горами, что скоро можно будет заняться мирным трудом...»

В КАРАГАНДЕ

В начале 1945 года лагерь строителей готовился к передислокации на новое место. Куда – никто из вольнонаёмных инженеров и техников толком не знал.

Заболоцкий, в глубине души, готовился совсем к другому. Он перечитал своё, шестилетней давности, начало перевода «Слова о полку Игореве» и не мог уже противиться воображению. Своих собственных стихов он будто бы не подпускал к себе и не раз заявлял жене: писать их больше не буду. На свободе решил заниматься лишь литературными переводами. Но древнейший памятник русской литературы был для него, разумеется, больше, чем обычный перевод. Слово неведомого поэта являлось изначальным Словом всей русской литературы, перед силой, яркостью и обаянием которого невозможно было устоять никаким внутренним запретам.

В январе Заболоцкий отправил Николаю Степанову телеграмму с просьбой прислать ему текст древнерусской поэмы.

20 января 1945 года он писал другу:

«Я очень сомневаюсь, что мне удастся поработать над окончанием перевода, но, во всяком случае, я хочу возобновить в голове памятник и припомнить ту концепцию, которая у меня сложилась в старые времена. То, что сделано, нуждается в большой обработке и переработке, и для окончания всей работы нужно ещё немало времени и подходящая обстановка, которой, конечно, нет».

Немного рассказал и о своём житье-бытье на Алтае – по его словам, скудном существовании:

«Семейные дела меня не очень радуют, хотя мы живём дружной семьёй. Кате, конечно, очень трудно в этих условиях. <...> Никита – способный, но малограмотный мальчик – следствие ненормальных занятий, пропусков, переездов, болезни и пр. Кстати, я был бы тебе очень благодарен, если бы ты как-нибудь выслал мне бандеролью для Никиты учебник истории древнего мира для 5 класса и для того же класса учебный географический атлас. Я знаю, что это хлопотливое дело – искать книги, специально этим и заниматься не надо, но при случае ты эти книжонки поимей в виду.

Грандиозное наступление наших войск в центре внимания каждого из нас; каждое утро мы отмечаем по картам новые победы, и под знаком их проходит весь день».

В студёные мартовские дни 1945 года эшелон строителей отправился к новому месту назначения – в Караганду. Как обычно, поезд подолгу держали на станциях: в первую очередь шли составы на фронт. Заболоцкие ехали с семьёй вольнонаёмного инженера Г. М. Зотова, товарища Николая Алексеевича по работе. Чугунную печку в теплушке топили круглые сутки, но без особого толку: стоял сильный мороз. Однажды загорелся деревянный пол под печкой, и пламя вместе с очагом пришлось заливать водой. Теплушка окончательно промёрзла...

Под Карагандой состав загнали на запасные пути. Жилья для новоприбывших ещё не было, и сначала вольнонаёмные так и обитали в вагонах. Утром приезжал грузовик и забирал работников в управление, детей отвозили в школу на розвальнях. «Вскоре кончились выданные перед отъездом продукты, и семьи остались без еды, – пишет в своей книге Никита Заболоцкий. – Только на третий день Заболоцкий и Зотов получили в городе продовольствие, но разразился сильный снежный буран,

занесло дорогу, машина проехать не могла, и к эшелону пришлось идти пешком. Зотов пишет: “Буран был настолько силён, что снег проник в карманы костюмов, несмотря на то, что верхняя одежда была застёгнута на все пуговицы. И вот, когда пришли в свой вагон, расположились на нарах, Николай Алексеевич сказал: ‘Да, человек – самое выносливое животное. Какой зверь в такой буран может делать такие переходы?’”».

Вскоре семье Заболоцких отвели комнату в саманном домике в пригородном посёлке Большая Михайловка. Из нескольких широких досок и чурбачков Николай Алексеевич соорудил нечто вроде кровати, а из ящиков – подобие мебели. Печь топили местным углём. В этой комнатухе они и жили до осени, пока не получили комнату в коммуналке каменного дома на улице Ленина в центральной части Караганды – Новом городе.

Близ «третьей всесоюзной кочегарки» (во время оккупации Донбасса Кузбасс и Караганда обеспечивали страну углем) срочно возводился новый шахтёрский город Сарань. Там и работал Заболоцкий: поначалу техником-чертёжником, потом – исполняющим обязанности инженера, а осенью – уже начальником административно-хозяйственного отдела и, одновременно, начальником канцелярии управления. Его служебные нагрузки только возрастали: руководство ценило в нём аккуратность и добросовестность. Весь день поэт мечтал лишь об одном – добраться до дому и снова засесть за перевод. Сыну запомнилось, как усталый отец, на скорую руку перекусив, усаживался на самодельном лежбище, отгибал край одеяла и раскладывал на досках свои бумаги.

...В 1984 году карагандинский краевед Ю. Г. Попов спрашивал у вдовы поэта, не был ли Заболоцкий знаком в шахтёрском городе со знаменитым учёным А. Л. Чижевским и литературоведом Г. Л. Эйхлером, на что Екатерина Васильевна ответила: «День он был на работе, возвращался домой, садился за перевод “Слова о полку Игореве” и работал до глубокой ночи. По воскресениям, если отрывался от перевода, то по необходимости ехал в Сарань, где была посажена картошка. И там он встречал только сотрудников».

Хотелось Заболоцкому что-то заработать для семьи помимо оклада жалованья. И он обратился с письмом на имя председателя Союза писателей Казахстана, предлагая свои силы для переводов из казахской поэзии. Как вспоминала Е. В. Заболоцкая в одном из писем к Ю. Г. Попову (от 9 ноября 1983 г.), «ответ на это письмо получен не был, что Николай Алексеевич воспринял болезненно».

Лучше всего об этом времени рассказал сам поэт – в письме к другу, Н. Л. Степанову, от 20 июня 1945 года:

«Дорогой Коля!

На днях я закончил черновую редакцию перевода “Слова о полку Игореве”. Теперь, когда переписанная рукопись лежит передо мной, я понимаю, что я ещё только что вступил в преддверие большой и сложной работы. Я знаю, что я в силах проделать эту работу. Состояние моей рукописи убедило меня в этом. Но я сомневаюсь, что у меня хватит сил довести её до конца, если обстоятельства жизни моей не изменятся к лучшему. Можно ли урывками и по ночам, после утомительного дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод – которому можно было бы и целую жизнь посвятить и все свои интересы подчинить? А я даже стола не имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь.

Сидишь целый день на работе, копируешь чертежи и страстно ждёшь той минуты, когда сможешь вернуться домой и взяться за перо. Но вот приходит она – эта

минута. Пройдёшь по жаре 3 километра, с книгой в руках поешь, берёшь перо и чувствуешь, что ты уже слаб, что отдых нужен, нет свежести в голове, мысль сонная, перо не идёт. А ты знаешь – какая это работа. Можно написать десяток вариантов на одно место – и ни один вариант не подойдёт. Так иногда приходишь до самоиступления и, проклиная всё, засыпаешь. И на завтра – та же картина. Только по воскресеньям дело меняется, но сколько же нужно этих воскресений, боже мой?!»

Впрочем, никакие житейские препятствия уже не способны были его остановить. Как тьма до свету, так и проза до поэзии:

«Сейчас, когда я вошёл в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, – стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нём знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасен труд! Нет в нём этих сечений, всё в нём полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит – это загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская.

Есть в классической латыни литые, звенящие, как металл, строки; но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: – Какое счастье, боже мой, быть русским человеком! (здесь и далее курсив мой. – В. М.)

Мой перевод – дело, конечно, спорное, так как, будучи рифмованным и тоническим, он не может быть точным и, конечно, внесёт некоторую модернизацию. Здесь чутьё и мера должны сыграть свою роль. Я счёл бы задачу решённой, если бы привнесённые мной черты не противоречили общему стилю, а современный стих звучал достаточно крепко, без “переводной” вялости и жвачки.

Это сделать тяжело.

Всё, мой дорогой. <...>

Через две недели, 4 июля, Заболоцкий сообщил Степанову, что перевод в основном готов. Поэт почти заново переписал то, что было сделано семь лет назад, оставив нетронутыми чуть более трети из трёх сотен строк, и перевёл остальную часть текста поэмы. Теперь он подробно раскрыл свой замысел:

«Моей первой целью было: дать полноценную поэму, которая, сохраняя в себе всю силу подлинника, звучала как поэма сегодняшнего дня – без всяких скидок, предоставляемых переводу. И часто, читая самому себе свою поэму, я мысленно говорю вам, мои друзья: “Дайте мне на пару часов Колонный Зал, и я покажу Вам, как может сегодня звучать ‘Слово о полку Игореве’!”

Вторая моя цель была: как можно меньше отступлений от оригинала. Я сделал всё, что было в моих силах, поскольку это можно было сделать для тонического рифмованного стиха. Сейчас ещё есть ряд недоработанных мест, но они доработаются к концу лета.

Итак – я пошёл по наиболее скомпрометированному пути: по пути Минаевотца и Гербея, и пошёл по этому пути потому, что, несмотря на их неудачи, всё же их путь был правилен. Надо было решить основной вопрос: стихи это или не стихи? Для XII века это было тем, что для нас является стихами. Это несомненно. <...> Наша поэзия целиком подчинена тоническому принципу, и никакая разруши-

тельная работа поэтов нашего века не могла поколебать тоническую стихию. Может быть, она и умрёт когда-нибудь (когда изменятся основы прекрасного в музыке), но сейчас она полна сил, имеет все возможности развиваться далее и будет жить долго. Поэтому я, не колеблясь, встал на точку зрения целесообразности тонического перевода, а встав на этот путь, без колебания принял и рифму, так как точки над *i* необходимы. И не раскаиваюсь. Работа была очень трудной, но я считаю её в основном удачной. <...>

Но я люблю “Слово” и, ложась спать, вижу его во сне. Я рад, что на 43-м году жизни мне удалось пережить его в себе самом, и я с нетерпением ожидаю отпуска, чтобы ещё раз как можно глубже погрузиться в него – на прощанье».

Получив в середине июля отпуск в управлении, Заболоцкий в доме отдыха на станции Аккуль завершил отделку перевода.

* * *

С весны 1945 года возобновились хлопоты друзей поэта о его возвращении в литературу.

22 марта Николай Тихонов, Илья Эренбург и Самуил Маршак обратились с письмом к Л. П. Берия. Они писали, что талантливый поэт Николай Алексеевич Заболоцкий отбыл пятилетний срок заключения, освобождён по директиве Особого совещания и оставлен по вольному найму для работы в лагере до конца войны. Далее в письме следовало:

«Автор широко известных, глубоко патриотических произведений, посвящённых величию нашей родины (“Горийская симфония”, “Север” и др.), Н. А. Заболоцкий является также талантливым переводчиком Руставели. Его перевод “Витязя в тигровой шкуре” был удостоен почётной грамоты и премии ЦИК Грузинской ССР. Государственное издательство привлекает его в настоящее время к работе в качестве переводчика.

Однако условия жизни и работы Н. А. Заболоцкого лишают его возможности заниматься литературным трудом. До сих пор Н. А. Заболоцкий работал чертёжником в Алтайском крае, а теперь вместе со строительством перебросен в Караганду. Климат Караганды противопоказан его здоровью и может оказаться губительным для его 12-летнего туберкулёзного сына (жена и двое детей, эвакуированные из Ленинграда в 1942 году, переехали к Н. А. Заболоцкому полгода назад). Кроме того, для работы поэта-переводчика необходима постоянная связь с издательством, возможность пользоваться библиотеками и т. д.

Мы просим Вас разрешить Н. А. Заболоцкому переехать с семьёй в Ленинград (или Сиверскую под Ленинградом, где у его жены имеется дача). Это даст возможность талантливому поэту принять участие в важной работе. Вместе с тем мы не сомневаемся в том, что большой талант Н. Заболоцкого принесёт ещё много пользы делу нашей литературы».

Вслед за ними к всесильному Берия обратился замдиректора Гослитиздата Пётр Чагин (в начале 1920-х годов хороший знакомый Сергея Есенина по Баку и Москве). Он тоже просил вернуть к переводческой работе «одного из наших лучших поэтов-переводчиков».

Вряд ли «дорогого Лаврентия Павловича» можно было разжалобить доводами о плохом климате и болезнях детей. Ещё меньше ему было дело до «пользы литературы». Сам Берия, конечно, не ответил на эти письма. Однако, судя по справке органов безопасности, о деле Заболоцкого он всё же осведомился. Вероятнее всего, велел своим подчинённым не торопиться с разрешением на переезд поэта в центр...

Тем временем Заболоцкий явно утомился от этих бесконечных и бесплодных ожиданий. 4 июля он написал Н. Л. Степанову несколько горьких строк: «Итак, мой дорогой Николай Леонидович, уже кончился июнь, и июль на полном ходу. Утешительные твои сообщения очень мне напоминают те, которые я имел в 40-41 годах и которые так жестоко обманули меня. По опыту знаю, что если дело затягивается, то и добра ждать не приходится. Очевидно, никто из крупных людей не хочет серьёзно взяться за это дело. И мой злой рок продолжает тяготеть надо мной. Одного жаль: годы уходят, уходит искусство».

Немного ранее Заболоцкий писал к А. А. Фадееву – с горьким сарказмом, предельной откровенностью, не скрывая боли:

«Мои обязанности заключаются в механической копировке чертежей. Этой полезной деятельностью я занимаюсь семь лет и благодарю судьбу за то, что в руках моих рейсфедер, а не лопата. (...) пять лет я за что-то отбывал наказание (...). За семь лет я прочитал с десятков случайных книг и не написал ни одной строчки. Но я физически здоров, и в душе у меня, кроме тяжкого недоумения – неистребимая любовь к моему искусству, которая только тогда умрёт, когда погибну я сам. Ко мне приехала семья, пережившая Ленинградскую блокаду. 12-летний сын болен туберкулёзом, но у меня нет средств, чтобы лечить его (...)».

Мне нужно как-то помочь. Нужно, чтобы я имел физическую возможность заниматься литературой, и чтобы семья моя имела кусок хлеба. Я знаю, что я сделал в литературе немного. Но я чувствую, что могу сделать больше. Поэтому я ещё и хочу жить. Ведь не ради моего личного удовольствия судьба сделала меня писателем».

В начале октября 1945 года Николай Заболоцкий впервые прочёл свой перевод «Слова о полку Игореве» на публике. Сначала это произошло в собственном строительном управлении. Затем в городе – в карагандинском Доме партийного просвещения. Хотя на чтение пришло совсем немного народу – человек пятнадцать, – этот вечер стал событием в культурной жизни Караганды. В областной партийной газете «Социалистическая Караганда» появилась благожелательная заметка о вечере, которая весьма порадовала поэта. Перевод древнерусской поэмы был его надеждой, и любой положительный отзыв мог хоть немного, но повлиять на дальнейшую творческую судьбу. Автором заметки была преподаватель Карагандинского педагогического института Нонна Меделец. Похоже, она хорошо запомнила тост Сталина за русский народ, поднятый на торжествах по поводу победы в Великой Отечественной войне. «Особенно отрадно, – писала она в конце, – что перевод появился в 1945 году, в год торжества русского народа над самым заклятым его врагом, отчего яркие и звучные стихи перевода, рассказывающие о героической борьбе русского народа за независимость земли русской, звучат особенно близко и волнующе».

Заболоцкий, конечно, надеялся, что его перевод пройдёт в центральной печати – и просил Николая Степанова как-то устроить эту публикацию. Тогда бы, пожалуй, можно было бы восстановиться в Союзе писателей и переехать в Москву или Ленинград. Однако друг молчал, как видно, мало преуспев в этом деле...

Помощь пришла совершенно неожиданно – и откуда он никак не ожидал.

Начальник Особого Саранского строительного управления треста «Карагандашахтострой» Д. И. Чечельницкий и начальник проектного отдела управления П. М. Цишевский, прочтя перевод «Слова», первыми поняли, что с ними работает по-настоящему большой поэт. Они пришли к начальнику Саранского лагеря, и тот не только ознакомился с переводом, но и по достоинству его оценил.

6 сентября 1945 года в Союз писателей СССР, на имя председателя правления Н. С. Тихонова было отправлено официальное письмо, подписанное начальником

Управления Саранского исправительно-трудового лагеря НКВД майором Кучиным и начальником политотдела лагеря старшим лейтенантом Родивиловым:

«...» За время пребывания в лагерях тов. ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. проявил себя как добросовестный и исполнительный работник, не имел замечаний и взысканий ни в быту, ни на производстве, деятельно участвовал в общественной жизни и зарекомендовал себя в качестве гражданина, безусловно достойного освобождения из-под стражи и возвращения в трудовую семью нашего народа. За хорошую работу по ходатайству Управления Алтайского ИТЛ НКВД в 1944 г. тов. ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. был освобождён из-под стражи и в настоящее время является полноправным гражданином, имея лишь ограничение права на местожительство (ст. 39 Положения о паспортах).

По характеру своей деятельности Саранское строительство не может использовать тов. ЗАБОЛОЦКОГО по его основной специальности писателя, и потому тов. ЗАБОЛОЦКИЙ работает в качестве технического работника – на работе, не соответствующей ни его образованию, ни его профессии.

Между тем в течение последнего года тов. ЗАБОЛОЦКИЙ в свободное от занятий время выполнил большую литературную работу – стихотворный перевод “Слова о полку Игореве”, рассчитанный на широкого читателя. Партийная и профсоюзная общественность Саранского строительства, детально ознакомившись с трудом тов. ЗАБОЛОЦКОГО, признала его произведением большого художественного мастерства, способствующим широкой популяризации великого памятника древнерусского патриотизма в широких слоях советского народа.

Общественность Саранского строительства, придавая большое политическое и художественное значение труду тов. ЗАБОЛОЦКОГО, нашла необходимым обратиться в Правление Союза советских писателей со следующим:

1) Так как ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. своей хорошей работой в лагерях зарекомендовал себя как гражданин, достойный возвращения к своему свободному труду, он должен в силу своих литературных способностей и знаний возвратиться к своей литературной работе.

2) Управление Саранстроя НКВД просит Правление Союза советских писателей восстановить тов. ЗАБОЛОЦКОГО в правах члена Союза советских писателей и оказать ему всемерную помощь и поддержку как при опубликовании его труда в печати, так и в предоставлении права на жительство в одном из центральных городов Советского Союза».

Чрезвычайно милый документ! Рядовые, в общем, энкавэдэшники одного из бесчисленных подразделений ГУЛАГа отстаивают право бывшего зэка-писателя заниматься литературой, печататься и жить там, где делается литература, – в то самое время, пока его коллеги по литературному цеху всё мешкают и согласовывают...

Как пишет Никита Заболоцкий, поэт, прочитав копию этого письма, лишь горько усмехнулся её удивительной парадоксальности: лагерное начальство рекомендует его литературный труд Союзу писателей, сотрудники НКВД просят создать ему, недавнему заключённому, условия для литературной работы!..

И снова долгое, томительное ожидание ответа из Москвы. Когда надежда, казалось, была уже потеряна, вдруг пришла телеграмма от Председателя Правления Союза писателей Николая Тихонова: «В Особсаранстрой, копия Заболоцкому. Прошу командировать Заболоцкого Николая Алексеевича город Москву сроком на два месяца». Это случилось в последний день уходящего 1945 года.

«Лучшего новогоднего подарка Николай Алексеевич никогда не получал», – свидетельствовал его сын.

Начальник Особсаранстроя Чечельницкий сразу же после Нового года издал приказ: командировать начальника канцелярии Заболоцкого в Москву с 8 января по 8 марта 1946 года, предоставив ему отпуск без содержания.

Поэт сдал дела и получил три тысячи рублей командировочных.

Прощание с женой и детьми – и поезд...

* * *

Каким было это прощание?.. Что его ожидало в Москве?..

Год спустя, когда он вновь дописывал «Людейникова», там появились строки о том, как взглянул его Людейников на любимую «из глубины безмолвного вагона»:

И поезд тронулся <...>.

А небольшая поэма «Город в степи» (1947) начинается с карагандинского – колючего, степного, индустриального – пейзажа:

Степным ветрам неписаны законы.
 Пирамидальный склон воспламеня,
 Всю ночь над нами тлеют терриконы –
 Живые горы дыма и огня.
 Куда ни глянь, от края и до края
 На пьедесталах каменных пород
 Стальные краны, в воздухе ныряя,
 Свой медленный свершают оборот.
 И вьётся дым в искусственном ущелье,
 И за составом движется состав,
 И свищет ветер в бешеном веселье,
 Над Казахстаном крылья распластав.

Дым и огонь... терриконы, ветер...
 Беспредельная степь – и колёса стучат на стыках:
 – Кара – ганда... Кара – годна...

Продолжение следует.

